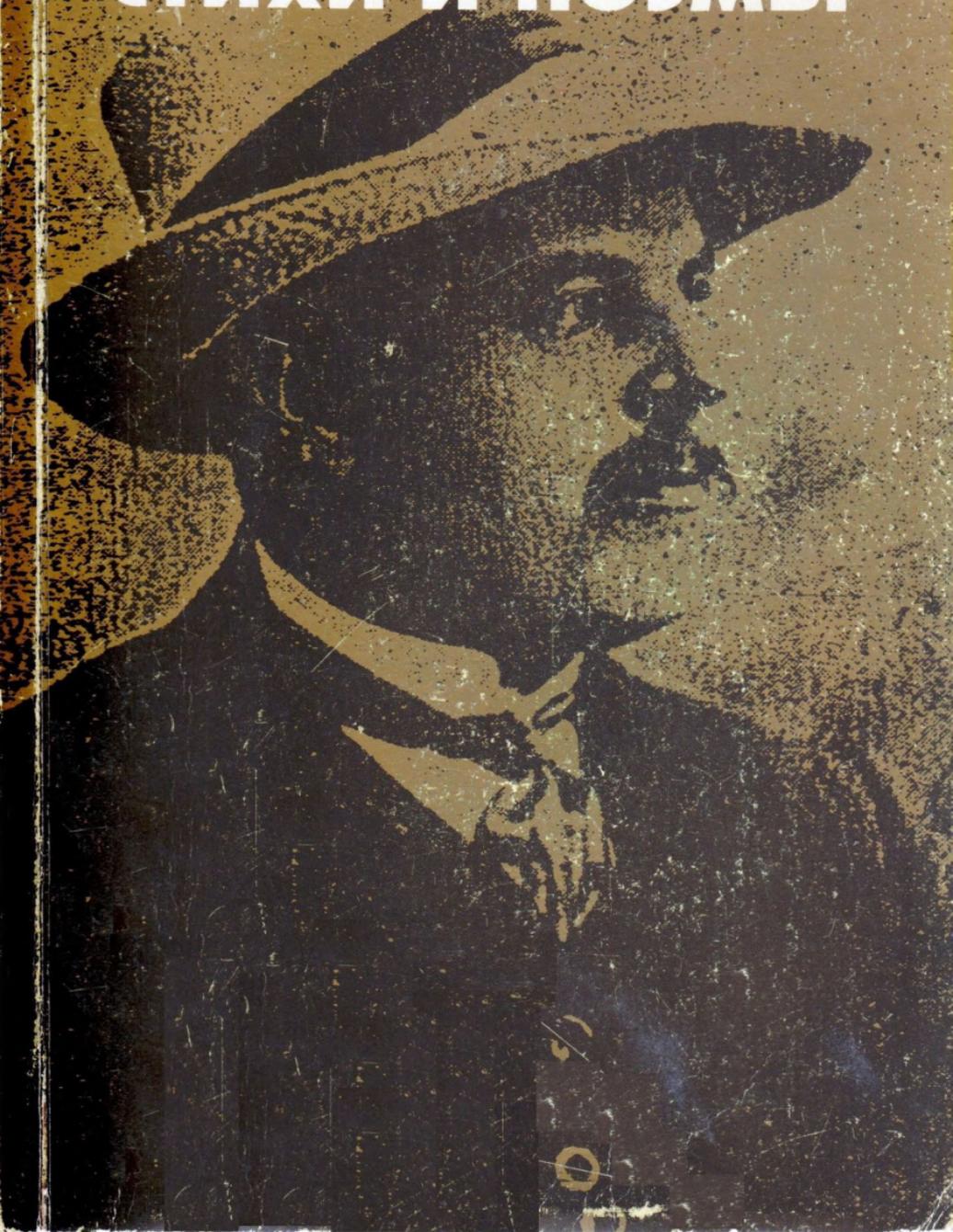


Х. Н. БЯЛИК
СТИХИ И ПОЭМЫ



БЯЛИК: СТИХИ И ПОЭМЫ



Ա. Կ. Չ. Ն.

Х. Н. БЯЛИК

СТИХИ и ПОЭМЫ

Перевели

Вл. Жаботинский, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов

В. Иванов, О. Румер, Ф. Сологуб, Л. Яффе



ИЗДАТЕЛЬСТВО ДВИР

ח. נ. ביאליק: שירים ופואמות

©

Издательство Двир, Тель-Авив, 1990

OCR Давид Титиевский, июнь 2020 г., Хайфа

ВВЕДЕНИЕ

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК родился в 1873 году в деревне Рады (Волынской губернии) в бедной еврейской семье. Отец его служил надсмотрщиком на лесном участке у арендатора лесов и мельниц. Пять лет провел мальчик, будущий поэт, в деревенской глуши, в тиши лесов и полей, очарованный простором неба и земли, красотой природы, одновременно «простой, скромной и щедрой». В своей автобиографии поэт вспоминает с большой любовью и благодарностью эту счастливую пору своей жизни и благословляет те магические силы, которые уже тогда наложили печать на развитие его личности. Первые глубокие впечатления, первые видения мира, первые грезы и озарения легли на детскую восприимчивую душу «как роса на травы, как легкая летняя пыль на зрелые и полные плоды». Эту благодатную росу, по его словам, он «пронес через всю жизнь».

Уже зрелым поэтом — в ряде прекрасных стихов — он возвращается в эту счастливую страну раннего детства, чтобы снова пережить первые откровения. Пруд, на берегу которого он мальчиком любил сидеть часами и следить за отражением неба в нем, становится для него прообразом, символом поэзии и искусства.

Коротка была та счастливая пора его жизни. Скоро отец лишился службы, и семья вынуждена была перекочевать в город Житомир, поселилась в пригороде, в Дегтярной Слободе, где ютилась в тесноте еврейская беднота. Шестилетнего Хаима Нахмана посылают в традиционную еврейскую школу, в «хедер», к суровому учителю, «грубому и невежественному». Правда, — из окошек хедера виден был лес, и «голоса окрестных ручьев доносились до его стен» и, по словам поэта, «они помогали мальчику учить наизусть псалмы». Жизнь в семье

между тем становилась все тяжелее, нужда — тягостнее. Отец, человек более мечтательный чем практический, выбивался из сил, чтобы кое-как прокормить свою большую семью. Он открывает маленькую корчму для приезжающих сюда крестьян, но занятие корчмаря чуждо ему, гнетет его душу и тело, приводит к его ранней смерти. В большой поэме «Отец», которую поэт написал в последние годы своей жизни, он воскресил трагический образ отца, страшный по силе, полный страдания, мученичества, слез и крови. Голова отца витает как голова мученика, оторванная от тела, в испарениях и дыме трактира, в зловонии, криках и сквернословии пьяных. Глаза его плачут кровью.

После смерти отца, мать, оставшаяся без всяких средств, передает семилетнего сироту на попечение и воспитание деду, суровому и благочестивому старику, который проводил дни над раскрытым фолиантом Талмуда. Дед не был слишком рад своему внуку — неисправимому шалуну, чья страсть к игре, к забаве, не знала удержа, и никакие тяжелые наказания не могли усмирить ее. Взлесть на высокий телеграфный столб, на крышу дома и кричать ночью петухом, кататься на льду — опасные забавы, за которые мальчик тяжело расплачивается. Игра кончается плачем, и, как рассказывает поэт, он даже полюбил этот плач.

Но его исключительные способности, его память, быстрота, с которой он одолевает все трудности недетской библейской науки, уже пророчат ему славу.

В эти тяжелые годы его сиротства — в душе Х. Н. развивается страсть, которую поэт называет «страсть к созерцанию», любовь к одиночеству, к отшельничеству, — «уйти в себя, замкнуться, отдаться мечтам», быть как это любимое озеро в детстве, в котором отражается внешний мир, но уже преобразенный. Часами способен мальчик пребывать в этом состоянии созерцания-самосозерцания и наслаждаться им, — он был поэтом прежде чем начал писать стихи, как все настоящие большие поэты.

Его третья страсть — книги. Еще не зная их, не понимая их,

он полюбил их — и навсегда. Книжный шкаф его деда — его друг, сообщник, собеседник, исповедник и даже подстрекатель. Книги были главным образом религиозные: Талмуд во всех его частях, комментарии, мидрашим, каббала, легенды, фольклор. Но и эти недетские книги, в глубину которых он не мог проникнуть, помогают ему уйти из действительности в область фантазии, помогают ему стать поэтом. В эти ранние годы он уже пробует писать: записывает рассказы, которые слышит, «балуется на языке ученом и простонародном». « Эти три страсти — игра, созерцание и книги — которым, по словам поэта, мальчик отдавался всем телом и душой, «без того, чтобы одна страсть мешала другой», стали его спутниками на всю жизнь, в разных формах и проявлениях.

В тринадцать лет — возраст совершеннолетия — Х. Н. полон книжной премудрости. Хедер и учителя не могут ничего прибавить. Теперь он переходит в Бэт-Гамидраш, молитвенный дом, в котором взрослые продолжают молиться и учиться в одиночестве, отрешенные от внешнего мира. Хаим Нахман, юноша-аскет, шлифует здесь свой ум в сложных вопросах теологии, в казуистике Талмуда, либо погружается в бездну мистической науки — каббалы. Но тут он уже познает первую юношескую драму сомнения, мучается вопросами, на которые религиозная догма не в состоянии ответить. Он читает, тайком, книги просветительного характера, «Сафрут Гагаскала», и они открывают ему новые горизонты жизни, красоты, деятельности-творчества. Природа, как и раньше, полна для него обаяния, освобождает от горя и сомнений, но она под запретом. Только урывками он приходит к ней. Соседство простых людей труда — ремесленников, мастеров, земледельцев — привлекает его здоровой простотой, близостью к природе, полнотой скромного счастья, и через много лет он расскажет об этом в своей прозе.

В своих мечтаниях он видит себя даже доктором философии Берлинской Раввинской Школы. Но все это — мечты, мечты еретические. Самое большее на что дед дает свое разрешение — это Ешива в городе Воложине, в которой Х. Н. надеется

утолить свою жажду к знанию и культуре. Но эта Ешива не выходит из узких рамок ортодоксального религиозного воспитания, — общеобразовательные предметы не входят в программу. Воспитанники совершенствуются главным образом в тонкостях Талмуда. Х. Н. не находит здесь того, что ищет его пытливый ум. Его жажда неутолима, сомнения растут, переходят иногда в отчаяние. Он переживает драму юности, обреченной на медленное угасание. Он ищет выхода в светской литературе, знакомится втайне с русской художественной литературой. Тут он пишет свои первые серьезные стихи, пишет первую статью общественного содержания.

Эта жажда к знанию, к культуре, к жизни — приводит 17 летнего Х. Н. в Одессу, культурный центр, в котором в те годы проживали крупные еврейские писатели: Менделе-Мохер-Сфорим, Ахад Гаам, Равницкий, Клаузнер и др. Он застенчив до крайности; без всяких средств, без языка, — он погорян в большом городе. Шесть месяцев живет впроголодь, ночует в погребках и трущобах, вместе с бедняками и бродягами. Наконец он осмелился, решился, принес писателю Равницкому свое стихотворение «К ласточке». Стихотворение понравилось, принято, напечатано. Еврейская литература ждала тогда с нетерпением большого национального поэта. Его нельзя было узнать в первом стихотворении, но автор-юноша обещает, ему помогают учиться русскому и немецкому языкам, находят для него работу, квартиру. — открывается реальная возможность жить и учиться в крупном культурном центре. Но все эти планы рушатся. Семья зовет его обратно в Житомир, к умирающему деду. Старик хочет перед смертью видеть внука, которого любил и раньше, несмотря на все его проказы. Бялик временно оставляет Одессу. В девятнадцать лет он женится; пробует заняться торговлей, но без особенного успеха; потом переезжает в Польшу, живет 4 года в местечке Сосновицы, преподает в школе еврейские предметы. Эта работа обеспечивает ему возможность скромного существования и оставляет достаточно времени для творческой работы. И действительно, в эти годы он пишет свои первые крупные по-

эмы, которые сразу выдвигают его на первое место в еврейской поэзии. И как всегда, это плоды его собственного внутреннего развития. Душевные творческие силы, которые копились годами, пришли в движение. В 1902 году выходит его первый сборник стихов. Он возвращается на постоянное жительство в Одессу, — на этот раз уже зрелым поэтом, реформатором еврейской поэзии.

В 1903 году, после Кишиневского погрома, который всколыхнул весь мир своими зверствами, Одесский Общественный Комитет, во главе с историком Ш. Дубновым, посылает его в Кишинев, чтобы собрать на месте документальный материал. Он привозит оттуда документ страшной поэтической силы — «Сказание о погроме». Беспощадным реализмом картин, нечеловеческой силой гнева, он бичует свой народ, который безвольно отдает себя на растерзание насильникам. Слеза страдания — сострадания — стала огненной слезой гнева, которая способна потрясти основы мироздания. Его гнев-протест, его клич к сопротивлению воодушевляют на борьбу еврейскую молодежь — в рядах самообороны и революции.

Годы жизни Бялика в Одессе полны бурной деятельности в разных областях. В 1908 г. выходит полное собрание его стихов, в котором он выступает во всей силе и разнообразии. Вместе с писателем Равницким Бялик основывает книгоиздательства «Мория» и «Двир», которые выпускают книги для детского и юношеского возраста на языке библии; он редактирует журналы; выпускает вместе с Равницким капитальный труд, плод четырехлетней работы, «Сейфер Гаагада», — антология легенд, рассказов, изречений, которые впервые были собраны, отредактированы и объяснены. В собирании наследия поэтического и народного творчества во всех его формах поэт видит неотложную задачу еврейской современной культуры — и он отдается ей со всем пылом и страстью. К этому примыкает его работа над переводами из мировой литературы — Сервантеса и Шиллера.

В 1921 г., с особого разрешения В. И. Ленина, по ходатайству М. Горького, Бялик, вместе с группой еврейских писателей,

оставляет Россию. После четырехлетнего пребывания в Берлине, где он развивает широкую издательскую деятельность, он переселяется в Палестину, в Тель-Авив, и сразу становится центральной фигурой в культурной жизни страны. Выходец из бедных слоев народа, он близок к народным трудовым слоям города и деревни; простота его обхождения, его глубокая демократичность, его отзывчивость на запросы жизни, его тяга и талант к беседе — делают его еще при жизни достоянием народа, его дом открыт для массы почитателей, которые всегда с трепетом ждут слова поэта. Он принимает участие во всех крупных культурных начинаниях страны — будь то университет в Иерусалиме, художественный музей в Тель-Авиве или театр Габима.

Его постоянная забота о собирании и хранении поэтического наследия принимает форму систематически-научного издания. Он издает шеститомное собрание сочинений великого поэта «Испанского периода», Ибн-Габироля, готовит издание Егуды Галеви и Ибн-Эзры. В этой работе ему помогают глубокая эрудиция и поэтическая интуиция. Наряду с этим он отзывается на жизнь гражданской лирикой или стихами для детей, в которых прорывается его первая страсть — к игре. В полном разгаре его деятельности, он заболевает и, по настоянию врачей, уезжает в Вену, подвергается там операции. 2 июня 1934 года облетает весь мир горестная весть о его смерти. 17-го июня 1934 года его останки были преданы земле на кладбище Тель-Авива. День его смерти — 21 Тамуза по еврейскому календарю — стал днем национального траура.

Дом Бялика в Тель-Авиве, на улице его имени, превращен в музей, в котором собраны все его произведения, в подлиннике и в переводах на разные языки, его письма, книги, материалы касающиеся его жизни и творчества. Его дом открыт для молодежи, всегда полон молодых читателей-почитателей поэта. Его именем названы крупное общественное книгоиздательство и главная литературная премия.

Его стихи и проза, письма, речи и беседы издаются вновь и вновь издательством «Двир», которое он основал. Критиче-

ская литература о его творчестве постоянно растет, привлекая новые молодые силы исследователей его многогранного наследия.

Характеристика творчества поэта на всех этапах его жизни, во всех ее аспектах, выходит далеко за пределы этого краткого введения, — ограничимся, поэтому, только несколькими общими замечаниями.

Значение и роль Бялика в еврейской поэзии, литературе и культуре можно уподобить только значению и роли Пушкина в русской литературе и культуре, несмотря на всё различие в творчестве этих двух народов и поэтов. Сочетались в Бялике черты национального гения, в самом глубоком значении этого слова, и черты поэтической личности, единственной в своей биографии и своей одаренности. Эта поэзия поднимается на вершины духа, с которых открываются нездешние ландшафты, она достигает глубокого символического значения, говорит языком образов, полных тайного, трагического смысла; она «опускается» до самых земных незатейливых явлений, до народной песенки, до фольклора, легенд и детской сказки. Личная тема перекликается с темой национальной, становится национальной, и наоборот: национальная тема становится личной. Его любовь к народу — любовь особенная. Быть народным национальным поэтом для него тяжелое призвание, которое несли на своих плечах библейские пророки-поэты. Не лесть, не жалость, не утешения, но обличения, гнев, страдание, борьба. Народный поэт в его образе — это народоборец, мужественный, часто беспощадный, иногда смелый бунтарь-мятежник, пугающий крайностью своего протеста. Народная гордость, народная честь, за которые он борется, — гордость человеческая, честь человеческая-общечеловеческая.

Трудно преувеличить роль и значение Бялика в возрождении еврейского языка и еврейской поэзии. Прежде чем этот язык стал языком разговорным, «живым», он сделал его уже языком чувств и мыслей, сложных и простых, личных и народных, языком современности. Традиция и новаторство живут в его творчестве в своеобразной гармонии. Он освобождает

поэтический язык от штампов и канонов, обновляет его силой своего переживания, своего гения, оставаясь всегда вместе с тем верным народной почве и заветам первоисточников. Чувство неблагополучия, тревоги, иногда даже отчаяния живет в его поэзии вместе с мистической любовью к свету, к солнцу, к природе, источнику радости. Обновитель, он всегда продолжатель: века прошлого звучат заново в его поэтической речи — в героической теме и в теме лирической, в народной песенке. Содержание и форма слиты воедино, форма одухотворена. Его проза, реалистическая, ясная и точная, становится образцом нового реалистического стиля. В его эссеях, литературного и общекультурного характера, оригинальная, глубокая, смелая мысль находит всегда адекватную форму и становится классическим образцом нового жанра.

Бялик принадлежит к тем немногочисленным избранникам в любой национальной литературе, которые знаменуют эпоху, рубеж, ренессанс — и вместе с тем олицетворяют в себе жизненную силу первоисточников, живую историческую память. Неудивительно, что все поколение еврейских поэтов его периода названо его именем, «поколением Бялика» — а среди них такие крупные имена, как Черниховский, Шнеур, Шимонович, Фихман, Каган и др.

Неудивительно также, что Бялик переведен и переводится на большинство европейских языков. Лучшим переводом является русский, сделанный Вл. Жаботинским при участии самого автора. Переводом Бялика занимались и знаменитые русские поэты: Валерий Брюсов, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Ю. Балтрушайтис и др. В настоящем издании собраны переводы Жаботинского и некоторые переводы упомянутых поэтов. Приведена также статья Максима Горького, посвященная творчеству поэта. Статья эта была опубликована в журнале «Еврейская жизнь» в 1916 году.

Э. З.

О Х. Н. БЯЛИКЕ

Трудно говорить о большом поэте, почти невозможно передать с достаточной ясностью все то, что вызывают в душе твоей его стихи, — вихрь чувств, разбуженный ими, почти всегда неуловим для слова.

Для меня Бялик — великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он — точно Исаия, пророк наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов.

Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю ее, мне кажется, что народ Израиля еще не имел, — по крайней мере на протяжении XIX века, — не создавал поэта такой мощности и красоты.

На русском языке стихи Бялика вероятно теряют половину своей силы, образности, но и то, что дают переводы, позволяет чувствовать красоту гневной поэзии Бялика.

Кто и что я? Сам Бог разрешил мою кровь,
В целом мире я — будто на плахе...
Брызги, кровь моя, лей, заливая поля,
Чтоб осталась навеки, навеки земля,
Как палач, в этой красной рубахе.

Так может говорить только человек исключительной духовной силы, человек святого гнева, и — да возбудит этот гнев гордость народа пламенным сердцем поэта.

Но как все крупнейшие поэты, Бялик общечеловечен, и когда читаешь некоторые его стихотворения, — до отчаяния жалко становится уже не еврея, а весь свой народ и себя самого.

Не родится меж вами, в день кары большой,
Муж великих деяний, с великой душой,
Чей огонь проникал бы как молния в грудь
И глаза, как звезда, озаряли ваш путь, —

Рыцарь совести, правды и дерзкой борьбы
С беззаветной враждой против рабьей судьбы
И с великой, как скорбь, и огромной, как срам,
И, как море, бездонною жалостью к вам,
Чтоб ярилась, бушуя, в нем буря Любви
И клубился пожар ненасытный в крови
И над вами гремел его голос сквозь тьму:
 «Подымись! Созидай!
 Не родиться ему...»

И далее:

... погиб мой народ, срама жаждет он сам,
Нет опоры стопе, нет мерила делам;
Сбились люди с дороги, устали бродить
И пропала в веках путеводная нить.
Рождены под бичом и бичом вскормлены, —
Что им стыд, что им боль, кроме боли спины?

Эти слова великого отчаяния падают раскаленными углями не только на сердце еврея, нет, не только .

Одним из наиболее сильных стихотворений Бялика является для меня «Сказание о погроме», — безжалостно карающее палача и справедливо — жертву, за ее покорность палачу.

Сквозь сердце Бялика прошли все муки его народа, и сердце поэта глубоко и звучно, как большой колокол.

Скорбь и гнев свой он выражает карающей речью пророка, но ему не чуждо и простое, милое-человеческое; когда он может, он является прекрасным лириком.

Он, вообще, широкий настоящий человек, которому ничто в мире не чуждо, он любит народ свой до отчаяния, он говорит с ним языком мстителя, оскорбляет его, кричит голосом Байрона:

Пусть умру средь молчанья: не пятняйте слезами
 Мою память во гробе!
Семь пожаров Геенны, что прошел я при жизни,
 Пусть найду и в могиле,

Лишь-бы худшей из пыток — вашим плачем на тризне
Вы меня не казнили.
Дайте гнить без помехи, глядя мыслью бессонной,
Как гниете вы сами,
И обглоданной пастью хохотать о бездонной
Вашей муке, и сраме...

Но это гнев любящего, великий гнев народного сердца, ибо
поэт — сердце народа.

Сквозь вихрь гнева, скорби и тоски пробивается ярким лучом
любовь поэта к жизни, к земле и его крепкая вера в духов-
ные силы еврейства.

Мы — соперники Рока,

Род последний для рабства и первый для радостной воли!

Эта вера Бялика не вызывает сомнения у меня — народ Изра-
иля — крепкий духом народ, — вот он дал миру еще одного
великого поэта...

М. Горький

С Т И Х И

В ПОЛЕ

Не птицею, вольно и гордо раскинувшей смелые крылья, —
Не львом, раздробившим затворы в стремленьи к пустыням и воле,
Собакой, побитой собакой, стыдась своего же бессилья,
Бежал я сегодня далёко в широкое чистое поле.

И полем иду я и внемлю беседе меж Богом и нивой,
И слышу под ласками ветра все шорохи гордого стебля,
Узоры таинственной дрожи, напев тишины говорливой
И грёзу, что грезят колосья, тяжелые космы колебля.

Уйду я глубоко и скроюсь, зароюсь в лепечущий колос,
Сольюсь и отдамся в истоме волненью могучего жита;
В далеком молчании леса учую загадочный голос,
И станет великая тайна и мне на мгновенье открыта.

И кинусь на влажную землю, прильну и приникну, рыдая,
И стану пытаться печально у лона праматери вечной :
Скажи мне, о мать и царица, скажи мне, родная, святая,
Зачем и меня не вскормила ты грудью живительно-млечной ?

Все тихо. На западе солнце склонилось к горному краю, —
И стебли меня, как родного, как будто бы с ними же рос я,
Укутали нежною тенью, и в ней я неслышно ступаю —
И небо вверху надо мною, да справа и слева колосья.

И тучки по синему небу плывут-расплываются, тая,
И крадутся тени по ниве, исполнены медленной лени ;
Но миг — и рассеется тучка, и нива блестит, золотая,
И дремлет под ласками ветра, и грезит в игре светотени.

! Вдруг повеяло вихрем, пронеслася прохлада,
Встрепенулись колосья, наклонились глубоко —
И шумя побежали, словно робкое стадо,
Побежали далеко-далеко.

Побежали в долину, прокатились как волны,
Рокоча докатились до зеленого бора,
И разлился невнятно, светлой радости полный,
Бодрый шум золотого простора.

Что бежите, колосья, и куда, золотые ?
Саранчой что шумите в беззаботном разгуле ?
Отчего засверкали ваши брови густые,
Мотыльков легкокрылых спугнули ?

Не вдогонку ль несетесь сизых тучек и тени,
В синий край, где раздолье, ширь и вольная воля ?
Или мчитесь в отчизну сонных грез и видений,
О, колосья широкого поля ?

Но вихрь улетел, и колосья забыли мгновенье испуга,
И замер взволнованный ропот тревожно-веселого гула, —
А в сердце моем зашумела другая жестокая вьюга,
Уснувшую боль разбудила, угасшее пламя раздула.

Как нищий, стою перед нивой, веселой, могучей, богатой,
И мучусь своей нищетой, и сердце так шепчет упорно:
Не я вас, колосья, взлелеял, не я в вашем поле оратай,
Не я ваши зерна посеял, не мне и собрать ваши зерна.

Жемчужными каплями пота не я поливал эту ниву,
Не я призывал на побеги дожди с благодатного неба,
Не я приходил улыбаться их росту, подъему, наливу,
И песня моя не раздастся в день жатвы обильного хлеба...

И все ж я люблю тебя, нива, и в сердце, тобою согретом,
Мне вспомнились пахари-братья на нивах моей Палестины,
Что в это мгновенье, быть может, и мне отвечают приветом
На мой молчаливый, но страстный привет из далекой чужбины.



Привет вам, родимые, где бы вы ни были,
Вам, сохранившим к отчизне любовь !
Народ возрождайте, спасайте от гибели,
Стяг наш упавший воздвигните вновь !...

Нам дороги в нашей борьбе возродительной
Слезы и пот ваш на ниве родной, —
Упали их капли росой живительной
В душу, убитую рабством и тьмой.

Пусть вами лишь первые камни положены, —
Верьте, он был не напрасен, ваш труд, —
По славной дороге, впервые проложенной,
Дальше отважно другие пойдут.

Под гнетом вражды и презрения злобного
Вера горит путеводным огнем, —
Со дней Зерубавела дела подобного
Мы не ковали в скитаньи своем !...

1894

Зерубавел — вдохновитель и организатор «Второго Исхода», т. е. исхода евреев из Вавилонского пленения и возвращения их на родину — в опустошённую Иудею.

Это было в 583 г. до Н. Э., когда персидский царь Кир Великий объявил : «Кто из вас, из всего народа Израиля, желает, да будет Бог его с ним и пусть идет (взойдет) в Иерусалим, что в Иудее».

У ПОРОГА

(Отрывок)

Дальше, о скитальцы, бодрыми рядами !
Путь еще не кончен, бой еще пред вами.

Свершены блуждания по глухой пустыне :
Новая дорога стелется вам ныне.

Сорок лет скитаний — зной, пески, граниты ;
Пали мириады, пали незарыты —

Пусть : они родились в рабстве Мицраима —
И рабами пали. Не жалей их. Мимо !

Пусть гниют, обнявши то, что сердцу мило, —
Тюк своих пожитков, принесенных с Нила ;

Пусть им снится рабство, с чесноком и луком,
И горшками мяса, и гусиным туком.

И поделит коршун с бурей пустыни
Жалкий прах последних из сынов рабыни.

Сладко будет солнцу озлатить впервые
Целый род свободных, не склонявших выи, —

И впервые взглянет, незнаком с бичами,
Целый род на солнце — гордыми очами !

.
.

1896



Как сухая трава, как поверженный дуб,
Так погиб мой народ — истлевающий труп.
Прогредел для него Божий голос с высот —
И не внял, и не встал, и не дрогнул народ,
Не проснулся в нем лев, не воскрес исполин,
И не вспрынул в ответ ни один, ни один...
И когда, живы духом, из дальней земли
На Господний призыв ваши братья пришли —
Не сбежался навстречу борцам у ворот
Весь, от моря до моря, ликуя, народ,
И для верных своих не нашлось у него
Ни пожатья руки, ни кивка, ничего...
В шумной давке глупцов пред чужим алтарем
Утонул Божий голос, заглох Его гром,
И, поруган плевками холопских потех,
Замер Божий глагол под раскатистый смех....

Так истлел мой народ, стал, как жалкая пыль,
Обнищал, и иссох, и рассыпался в гниль;
Не родится меж вами, в день кары большой,
Муж деяний и жизни, с великой душой,
Чей огонь проникал бы, как молния, в грудь,
И глаза, как звезда, озарили ваш путь, —
Рыцарь правды и грезы и дерзкой борьбы,
С беззаветной враждой против рабьей судьбы —
И с великой, как скорбь, и огромной, как срам,
И, как море, бездонною жалостью к вам, —
Чтоб ярилась, бушуя, в нем буря Любви,
И клубился пожар ненасытный в крови,
И над вами гремел его голос сквозь тьму:
Подымись ! Созидай ! —

Не родиться ему...

Как погиб мой народ... Срама жаждет он сам
Нет опоры стопе, нет мерила делам.
Сбились люди с дороги, устали бродить,
И пропала в веках путеводная нить.
Рождены под бичом и бичом вскормлены,
Что им стыд, что им боль, кроме боли спины ?
В черной яме чужбин копошася на дне
Воспарит ли душа над заботой о дне,
Возвестит ли рассвет, возведет ли престол,
Завещает ли веку великий глагол ?
Раб уснул, и отвык пробуждаться на клич,
Подымают его только палка да бич.
Мох на камне руин, лист увядший в лесу —
Не расцвествь им вовек, не зови к ним росу.
Даже в утро Борьбы, под раскатами труб,
Не проснется мертвец, и не двинется труп...

1897

ВАШЕ СЕРДЦЕ

Словно в дом, где разбито имя Бога над дверью,
В ваше сердце проникла толпа бесенят :
Это бесы насмешки новой вере — Безверью —
Литургию-попойку творят.

Но живет некий сторож и в покинутых храмах —
Он живет, и зовется Отчаяньем он;
И великой метлою стаю бесов упрямых
Он извергнет и выметет вон.

И, дотлевши, погаснет ваша искра живая,
Онемелый алтарь распадется в куски,
И в руинах забродит, завывая, зевая,
Одичалая кошка Тоски.

1897



Если познать ты хочешь тот родник,
Откуда братья, мученики-братья
Твои черпали силу в черный день,
Идя с весельем на смерть, отдавая
Свою гортань под все ножи вселенной,
Как на престол вступая на костры
И умирая с криком : Бог единый ! —

Если познать ты хочешь тот источник,
Из чьих глубин твой брат поработанный
Черпал в могильной муке, под бичом,
Утеху, веру, крепость, мощь терпенья
И силу плеч — нести ярмо неволи
И тошный мусор жизни, в вечной пытке
Без края, без предела, без конца ; —

И если хочешь знать родное лоно,
К которому народ твой приникал,
Чтоб выплакать обиды, вылить вопли —
И, слушая, тряслись утробы ада,
И цепенел, внимая, Сатана,
И трескались утесы, — только сердце
Врага жесточе скал и Сатаны ; —

И если хочешь видеть ту твердыню,
Где прадеды укрыли клад любимый,
Зеницу ока — Свиток — и спасли;
И знать тайник, где сохранился дивно,
Как древле чист, могучий дух народа,
Не посрамивший в дряхлости и гнете
Великолепья юности своей ; —

И если хочешь знать старушку-мать,
Что, полная любви и милосердья

И жалости великой, все рыдания
Родимого скитальца приняла
И, нежная, вела его шаги ;
И, возвратясь измучен и поруган,
Спешил к ней сын — и, осеня крылами,
С его ресниц она свевала слезы
И на груди баюкала... —

Ты хочешь,
Мой бедный брат, познать их ? Загляни
В убогую молитвенную школу,
Декабрьскою ли ночью без конца,
Под зноем ли палящего Таммуза,
Днем, на заре или при свете звезд —
И, если Бог не смел еще с земли
Остаток наш, — неясно, сквозь туман,
В тени углов, у темных стен, за печкой
Увидишь одинокие колосья,
Забутые колосья, тень чего то,
Что было и пропало, — ряд голов,
Нахмуренных, иссохших: это — дети
Изгнания, согбенные ярмом,
Пришли забыть страданья за Гемарой,
За древними сказаньями — нужду
И заглушить псалмом свою заботу,...
Ничтожная и жалкая картина
Для глаз чужих. Но ты почувешь сердцем,
Что предстоишь у Дома жизни нашей,
У нашего Хранилища души.

И если Божий дух еще не умер
В твоей груди, и есть еще утеха,
И теплится, прорезывая вспышкой
Потемки сердца, вера в лучший день, —
То знай, о бедный брат мой : эта искра —
Лишь отблеск от великого огня,

Лишь уголек, спасенный дивным чудом
С великого костра. Его зажгли
Твои отцы на жертвеннике вечном —
И, может быть, их слезы нас домчали
До сей поры, они своей молитвой
У Господа нам вымолили жизнь —
И, умирая, жить нам завещали,
Жить без конца, вовеки !

1898

ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА

Звездочка блеснула в ночи непроглядной.
Озари, сиротка, путь мой безотрадный !

Не боюсь ни ада, ни ночных видений —
Но устал от жизни в скуке вечной тени.

Я — вскормленныш ига, побродяга темный,
И отвеса нищий, и давно бездомный.

Голод был отец мой, мать моя — чужбина...
Бедность и скитанье не страшат их сына ;

Но боюсь до крика, до безумной боли —
Жизни без надежды, без огня и доли,

Жизни без надежды, затхлою, топкой, грязной,
Мертвенно-свинцовой, жалко-безобразной —

Жизни пса, что рвется на цепи, голодный, —
О, проклятье жизни, жизни безысходной !

Озари же дух мой, опаленный срамом
Блуда по чужбинам и по чуждым храмам ;

И свети мне долго — я мой путь измерю :
Может быть, я встану, может быть, поверю...

Долго ли продлится ночь моя — не знаю,
Мраку и скитанью все не видно краю, —

Пусть же, подымая взор из тьмы кромешной,
Твой привет я встречу ласково-утешный.

Не до дна, не все же выплаканы слезы :
Я вспою остатком цвет последней грезы.

В сердце не дотлела искорка былая —
Пусть же снова вспыхнет, пламенем пылая.

Еще сила бьется где-то там глубоко —
Пусть же вся прольется в битве против Рока !

1899



Эти жадные очи с дразнящими зовами взгляда,
Эти алчные губы, влекущие дрожью желаний,
Эти перси твои — покорителя ждущие лани, —
Тайны скрытой красы, что горят ненасытностью ада ;

Эта роскошь твоей наготы, эта жгучая сила,
Эта пышная плоть, напоенная негой и страстью,
Все, что жадно я пил, отдаваясь безумному счастью, —
О, когда бы ты знала, как все мне, как все опостыло !

Был я чист, не касалась буря души безмятежной —
Ты пришла и влила в мое сердце отраву тревоги,
И тебе, не жалея, безумно я бросил под ноги
Мир души, свежесть сердца, все ландыши юности нежной.

И на миг я изведаль восторги без дна и предела,
И любил эту боль, этот яд из блаженства и зною ;
И за миг — опустел навсегда целый мир надо мною,
Целый мир... Дорогою ценою я купил твое тело.

1899

НА СТРАЖЕ УТРА

Ты встречал ли на страже вступленье зар,
На небесный порог бледносине-красавый ?
Золотые потоки, багрец, янтари
Прорываются в высь, разливаются в ширь,
И встает богатырь —
Солнце Дня в облачении славы... —

Дивной мощи полна тех минут красота !
Словно близится Тайна — и нечто предтечей
Смутно бродит в душе, — но бессильны уста
Это нечто назвать, и не может извлечь
И одеть это в речь
Ни единый язык человечесий.

Ты встречал ли на страже вступленье зари —
Первый проблеск рассвета на небе народа ?
Мириады лучей — посланцы-бунтари —
С светлой вестью порхают и мчатся вокруг
На полночь и на юг,
На закат и к пустыням восхода...

Дивно яркий рассвет, дивно гордый восход !
Сохраним же хоть луч от зари, что мелькнула,
Чтобы завтра — потом, когда радость умрет
И вернется наш мрак, — эта искра у нас
Из заплаканных глаз
Иногда хоть сквозь слезы блеснула...

1899

СИРОТЛИВАЯ ПЕСНЯ

Прислушайся тихо : из темной задумчивой чаши
Доносятся к нам соловьиные трели несмело,
И, чудится, лес, так уныло кругом шелестящий,
Нерадостно шепчет : Ой, пташка, ты рано запела.

Смотри — еще в небе свинцовые тучи нависли,
В грязи непроходной мы вязнем по топким тропинам;
До сердца проникли злой ветер и черные мысли,
И черные волны до горла, до горла дошли нам.

А лес — он застыл, неприветливый, мертвый, унылый,
Нигде не прорезан веселою струйкою света;
Спят голые сучья, и сон их — дремота могилы,
И, мнится, не ждут они мая, не будет им лета.

И гниль залегла вековая по чаще дремучей,
Вся плешь листопада за длительный ряд седмилетий ;
Опавшие листья гниют многослойною кучей,
И корни погибших гигантов сплелися, как сети.

Покров бурелома — гнетущая мертвая груда —
Как саван могильный, на землю лесную надвинут ;
Весною не даст он пробиться побегам оттуда,
И там, под землю, завянут они и застынут, —

Застынут и сгинут от стужи подземного мрака, —
И, может быть, там, в глубине, где отвеча царит он,
Погиб целый мир, не родив ни цветочка, ни злака,
Никем на земле не замечен, никем не сосчитан...

А ветер поет — только песню другого напева :
Поет он о жизни во тьме, без желаний, без цели,
Унылой, как ливень, как вой леденящей метели
В степи, где не стало дороги ни вправо, ни влево...

И свист соловьиный, сквозь холод, и вихрь, и усталость,
Домчится к тебе уловимым едва переливом —
И в сердце проникнет глубокая тихая жалость
О пташке-сиротке и гимне ее сиротливом...

1899

ВЕСНА

Новым ветром пахнуло... Небо снова бездонно,
Вновь открылись дали, широко, озаренно,

По холмам — звон весеннего гула...

На рассвете поляна геплым паром одета,
Влажно-зелены почки в ожиданьи расцвета —

По земле новым ветром пахнуло.

Свет победный не грянул полным громом разлива —

Он как песенка реет, непорочно, стыдливо,

Нежно-молод, как травы, как рощи...

Погоди — и прорвется жизнь, родник сокровенный,

И заблещет расцветом молодой, дерзновенной,

И великой, и творческой мощи !

Свет так ласково-нежен, воздух ласково-зыбок,

И на что ты ни взглянешь, всюду радость улыбок,

Чьи-то глазки горят отовсюду ;

От всего ко всему словно нить золотая, —

Скоро, скоро забрызжет в блеске ландышей мая

Юность, юность, подобная чуду !

И вольются мне в душу с белым чадом сирени

Чары юности новой и старых видений —

Их дыханье весны всколыхнуло.

Вылью все, что мятется в сердце, полном весною,

Светлой влагой рыданий черный траур омою —

По земле новым ветром пахнуло!..

1900



Уронил я слезу — и слезинку настиг
Луч игривого света.
Сердце сжалось во мне: и она через миг
Испарится, пригрета...

И пойду — снова нищий... За что ? Для чего ?
Словно капля в болоте,
Даром сгинет слеза, не прожжет никого.
Не смутит их в дремоте...

И куда мне пойти ? Разве броситься ниц,
Рвать подушку зубами —
Может, выжму еще каплю влаги с ресниц
Над собой и над вами.

Слишком бледен ваш луч, и во мне он со дна
Старых сил не пробудит :
В небе солнце одно, в сердце песня одна.
Нет другой и не оудет...

1902

ПОСЛЕДНИЙ

Всех их ветер умчал к свету, солнцу, теплу,
Песня жизни взманила, нова, незнакома ;
Я остался один, позабытый, в углу
Опустелого Божьего дома.

И мне чудилась дрожь чьих то крыл в тишине —
Трепет раненых крыл позабытой Святыни,
И я знал : то трепещет она обо мне,
О последнем, единственном сыне...

Всюду изгнана, нет ей угла на земле,
Кроме старой и темной молитвенной школы, —
И забилась сюда, и делил я во мгле
С ней приют невеселый.

И когда, истомив над строками глаза,
Я тянулся к окошку, на свет из темницы, —
Она никла ко мне, и катилась слеза
На святые страницы.

Тихо плакала, тихо ласкалась ко мне.
Словно пряча крылом от какого то рока :
«Всех их ветер унес, все в иной стороне,
Я одна... одинока...»

И в беззвучном рыдании, в упреке без слов,
В этой жгучей слезе от незримого взора
Был последний аккорд скорбной песни веков,
И мольба о пощаде, и страх приговора...

1902

ПРЕД ЗАКАТОМ

Выйди, стань пред закатом на балкон, у порога,
Обними мои плечи,
Приклони к ним головку, и побудем немного
Без движенья и речи.

И прижмемся, блуждая отуманенным взором
По янтарному своду ;
Наши думы взвоятся к лучезарным просторам
И дадим им свободу.

И утонет далеко их полет голубиный
И домчится куда то —
К островам золотистым, что горят, как рубины,
В светлом море заката.

То — миры золотые, что в виденьях блистали
Нашим грезящим взглядам ;
Из-за них мы на свете чужеземцами стали,
И все дни наши — адом...

И о них, об оазах лучезарного края,
Как о родине милой,
Наше сердце томилось и шептали, мерцая,
Звезды ночи унылой.

И навеки остались мы без друга и брата,
Две фиалки в пустыне,
Два скитальца в погоне за прекрасной утратой
На холодной чужбине.

1902

О РЕЗНЕ

Для меня милосердий, о небо, потребуй!
Если Бог есть в тебе и к Нему — путь по небу,
(Той стези не обрел я!)
Для меня милосердий потребуй!
Я сердцем — мертвец; от молитв отошел я;
Рука опустилась ; надежды нет боле...
Доколе! доколе! доколе!

Вот — горло, палац ! Подымись ! Бей с размаха !
Как пес, пусть умру ! У тебя есть секира,
А весь свет — наша плаха !
Мы слабы в борениях мира...
Так бей ! и да брызнет тебе на рубаху
Кровь старцев и отроков, — красные реки,
И пусть не сотрется — вовеки ! вовеки !

Если есть справедливость, пусть тотчас воспрянет!
А если небесная истина глянет
Когда я исчезну, —
Да рушится трон ее в бездну !
Пусть небо сгниет и в проклятии канет!
А вы, — вы, злодеи ! — ликуйте, идите,
И, кровью своей упиваясь, живите !

Проклятье, — кто мезтью за ужасы воздал !
За кровь, за убийство младенца, — отмщений
И дьявол не создал !
Да льется она на ступени
Преисподней, до бездны, где вечные тени !
Пусть во мраке поток забушует багровый
И да сроет подгнившего мира основы !

1903

ГЛАГОЛ

Разбей твой алтарь, и пламенный уголь, о пророк,
Швырни средь большой дороги —
Пусть жарят они на нем мясо, и ставят горшок,
И греют руки и ноги.
И брось им искру из сердца — она пригодится
Зажигать окурок, что погас,
Озарять воровато-ухмыляющиеся лица
И злорадство прищуренных глаз.
Вот шныряют они — и твою молитву бормочут,
И во храме твоём, как дома ;
Скорбью твоею скорбят, о твоей заботе хлопочут —
И ждут твоего разгрома.
И тогда на разбитый алтарь налетят, и растащат сор,
Унесут в свои жилища,
И обломками вымостят двор, и починят забор,
И разукрасят кладбища ;
И если найдут твое сердце, опаленное, в куче сора, —
Швырнут его псам на еду.
Разбей же алтарь, толкни пинком позора,
И да рухнет и гаснет в чаду.
И смети паутину, что в сердце ты бережно нес,
Словно струны от арфы пророка,
И ткал из них песнь возрожденья и марево грез —
Обман для слуха и ока, —
И пусти их, как белые нити, что плавают днем
В воздухе позднего лета,
И не знают, не встретят друг друга, и с первым дождем
Исчезнут с белого света.
И надломленный молот, что треснул в борьбе бесполезной,
Но камня сердец не потряс, —
В дребезги раздроби, перекуй на заступ железный
И вырой могилу для нас.
И все, что подскажет гнев Божий, — да грянет из уст,
И дрогнуть не дай им:

Будь Глагол твой горек, как самая смерть — пусть !

Да услышим, и да знаем.

Смотри, нас окутала ночь, пред взором — черные пятна,

Как слепые, мы щупаем тьму :

Что то свершилось над нами, но что — нам невнятно,

Никому, — никому.

Взошло ли нам солнце, или погасло, умирая, —

Или погасло навсегда?

Бездна хаоса кругом, великая, страшная, злая,

И не спастись никуда ;

И если взвоем во тьме, или, молясь, воззовем —

Кто нас услышит, братья ?

И если проклятьями ярости все проклянем, —

На кого упадут проклятья?

И если со скрежетом гнева сожмем кулак, —

На чье темя рухнет удар ?

Все это, все поглотит бессмысленный мрак,

Все ветер развеет, как пар.

Нет опоры, руки повисли, не стало пути под стопами

И безмолвен небесный Суд —

Знают давно Небеса, что вина их безмерна пред нами,

И в молчании грех свой несут...

Открой же уста, если им от Правды дано,

Пророк Конца, восстань :

Будь Глагол твой горек, как смерть, — будь он смерть сама, все равно

Грянь !

Нам смерть не страшна — уж она нас давно оседлала

И в рот нам продела узду ;

На устах у нас — гимн возрожденья, и с ним, под звоны кимвала,

Мы до гроба допляшем в бреду...

МОТЫЛЕК

Целый мир — это блеск, это гимн, и кругом
Несказанно клокочет богатство живое,
И тропинкой меж лесом и нивой бредем
Молчаливо мы двое.

Мы бредем и бредем, а тропа все длинней ;
Справа бабочки вьются, колосья рокочут ;
Слева заросли нас паутиной теней
И просветов щекочут.

Тень ли ангела, тучка ли там проплыла
И растаяла вмиг в синеве без предела ?
Вслед за ней, как она высока и светла,
Моя греза в лазурь улетела...
И опять синеве ни границы, ни дна...
Ты идешь, — я, как пленный, бреду за тобою ;
И, как очи твои, даль чиста и ясна,
И хлеба улыбаются зною...

И мне чудится : этот задумчивый лес,
Тихо дышащий тенью, прохладой, покоем,
Затаил некий клад первозданных чудес
В брачный дар нам обоим...

Чу — по нивам дохнул ветерок, и потряс,
В трепет искр и лучей и мерцаний одел их,
И посыпал метелью снежинок на нас
Тучу бабочек белых.

И один мотылек сел на косы твои
И запутался в прядь, на цветочек похожий, —
И как будто дразнил : Я целую, смотри, —
Поцелуй ее тоже !
О, почувяла ль ты, что сказал мотылек ?
И почувяла ль ты, как глазами я жег,
Сам на страх мой в досаде, с мольбою во взгляде,
Эти мягкие пряди ?

Твои горлинки очи скромны, как всегда,
И напрасно бы в них заглянул я с вопросом ;
Нет, я верю не им, а проказницам-косам,

 Что кивают мне : да !

Так за мной же, малютка, — в тенистом леске
Наши души раскроем, наш день отпируем,
И любовь, что висит на твоём волоске,
 Я сорву поцелуем...

1904

ГДЕ ТЫ ?

Из мест, где скрыта ты, о жизни свет единый,
Моей тоски Шехина,

Приди, приди, как сон необычайный,
В приют мой тайный ;

Пока еще и мне есть избавленье,
Предстань и дай целенье,

Верни мне юность, ряд утраченных видений,
Мой бред весенний !

Мой пламень погаси блаженным поцелуем !
Твоими персями волнуем,

Пусть, я как мотылек, погасну, в час закатный.
На чаше ароматной!

Но где ты?

Еще не знал я, кто ты, что ты, где ты, —
Мечта тебе несла обеты;

Во мгле, как красный уголь, в час бденья, на постел
Сны о тебе горели ;

В ночи рыдая, я — кусал подушку ; тело
В предчувствии тебя — немело ;

И целый день, — меж буквами, в Гемаре,
В прозрачном облачке и солнечном пожаре,

В чистейшей из молитв и в чистоте мечтаний,
В восторге дум, в величии страданий,

Моя душа во всем всегда, как идеала,
Тебя, тебя, тебя одной искала.

1904

ИЗ ЗИМНИХ ПЕСЕН

I

Разбудил меня сегодня
Гам ворон и утра холод.
Я проснулся почему то
Словно в праздник бодр и молод ;

Словно в сердце, кто — не знаю,
Брызнул струйкой родниковой ;
Словно вдруг моя каморка
Стала лучше, стала новой...

А, мороз убрал окошко !
Хорошо убрал, на славу :
Точно посох Аарона
За ночь вырастил дубраву.

Кипарисы в хлопьях снега,
Дуб, алоэ, пальма, роза...
Добрый день, побегу стужи !
Шлю привет, цветы мороза !

И холодный, свежий, белый
Залил блеск мою каморку,
Словно был в ней добрый ангел,
Прилетавший на уборку.

И сияньем беззаботным
Залилась душа, ликуя,
Словно был в ней добрый ангел
И омыл ее, целуя.

II

А пока узорный иней
Сыплет радуги на солнце,
Кто там искрой огневою
Бьется, бьется мне в оконце ?

Шаловливый луч-малютка
В этой заросли горящей
Заблудился, зацепился
И повис в алмазной чаше...

Бьется, плещется, трепещет
Искрометною пылинкой.
Рвется вон из белой сети —
Вдруг затих — и стал росинкой.

Вон другая... Вон и третья...
И смотри — окно раздето,
И в каморку бурно хлынул
Ливень солнечного света.

То меня искало солнце
И настигло-затопило,
И в душе запела радость,
Бодрость дерзкая и сила...

Божий мир хорош и светел —
Я на плечи плащ накину
И, влюбленный, опьяненный,
Ринусь в белую пучину...

III

Только стал я на пороге —
И лучи, как брату рады,
Окружили, закружили,
Затопили без пощады.

Сколько солнц отвсюду мечет
Бриллиантовые стрелы !...
Словно девушка нагая,
Блещет мир бесстыдно-белый.

Белизна, куда ни взглянешь,
Белизна без дна и граней —
Все лучится, все сверкает,
Все как будто в новом сане...

Снегу, мощному Владыке,
Служат службой удалою
Белый Свет и белый Холод,
Тот стрелой, а гот иглою.

Верно, ночью грозный голос
Прогремел державным кликом :
«Завтра всем в уборе белом
Быть на празднике великом !»

Серебро, хрусталь и мрамор,
Яхонт, радуга, червонцы —
Так и брызжут с каждой крыши,
С каждой веточки на солнце...

Нежен, чист еще, как в небе,
Стелет снег лебяжьи ризы
На заборы, мостовые,
Подоконники, карнизы ;

Устиляет тротуары
Мягкой белой периной, —
Нити проволок обвиты
Серебристой паутиной, —

А на крышах — одеяла,
Все с хрустальной бахромою :
В целом мире белый праздник,
Мир венчается с зимою !

Белизна зовет и дразнит...
Сверху день рукой незримой
Сыплет пылью золотою
С диадемы негасимой...

А деревья, где для пташек
В белом инее чертоги,
Все звенят в сияньи утра
Гамом радостной тревоги...

IV

... Гей, Мороз, ожги насквозь !
В жар и холод разом брось,

Запуши мне ус и брови,
Влей железа вместо крови,

Словно звонкие мечи,
Буйны силы отточи,

И окуй, чтоб не прорвали,
Грудь как панцырем из стали !

Разгуляйся, проморозь,
Рви, царапай, жги насквозь,

Напружи во мне все ткани,
Захвати мне дух в гортани,

Пылью золота гори
И, безумствуя, цари !

V

Треск и визг и лязг металла,
Словно рубятся враги, —
То хрустят упругим снегом
Богатырские шаги :

Утро шествует, вздымая
Радость облаком, как пыль... —
В дымке пара мчатся кони,
Заливаясь: цель-цель-цель...

В пестрых сетчатых пополах,
То навстречу, то вослед,
Мчатся, мечут брызги снега —
И проносятся — и нет.

В буйном хаосе веселья,
Звона, пара и саней
Чуть мелькают вихрем шубы —
Щеки в пламени — он с ней...

Словно та же ненасытность
Охватила все сердца :
Пролететь одним размахом
Ширь земную до конца !

Воля ! Воля ! — Эй, свободен ?
Так помчи меня, живей,
Утопи меня в безумстве,
Душу с бурей развей !

Мчи, лети... — Куда ? — Не знаю !
Я не знаю — все равно,
Лишь бы жизнь и кровь кипела,
Искрясь, пенясь, как вино.

Да, я сроду бледный книжник,
Да, я робок, слаб и хил —
Но и я во льду пустынном
Искру силы сохранил ;

Но и я во льду пустынном
Затанл святые сны,
Ароматы новой, дивной
И невиданной весны...

Что так проволоки грустно,
По осеннему гудят ?
Бьет мой дух еще каскадом,
И запас еще богат !

Уходи, тоска лихая !
Чуден холод золотой !
Вырву кубок у судьбины,
Чтоб не выхватил другой, —

И одним глотком великим
Выпью кубок мой до дна,
Да сгорит в огне разгула
Мощь, и пылкость, и весна!

А потом, когда иссякнет
Сила юная в груди, —
Довези меня до леса,
Там, за городом — и жди.

Тих зимою лес могучий,
Тишь под сводами его :
Бел он, убран, и разубран —
И неизвестно, для кого...

Среброкудрый и холодный,
Белым таинством объят,
Он свершает Славе Божьей
Некий жертвенный обряд...

Я войду. Между стволами
Непорочный снег блестит.
Есть поверье : дивный молот
В глубине лесной сокрыт.

Из груди я сердце выну —
Словно меч, а грудь — ножны, —
И в горниле у мороза
Раскалю до белизны.

И вздыму я тяжкий молот,
И застонет белый рай,
И в груди лесного эхо
Грянет откликом : Дерзай !

И под молотом нальется
Сердце крепостью, как он, —
И пойду своей дорогой,
Семикраты закален...

1904



Встань, сестра моя, невеста,
Выйди в сад,
Выйди в сад —
Я пришел с приветом мая :
У меня в саду цветок
Дал росток-
Лепесток,
Первых ласточек встречая.

Рой лучей с утра у двери
Стережет
Твой приход,
Сыпля искристые ласки:
Выйди, светлая, ты в сад —
Обовьют, возродят,
И зажгут весельем глазки.

Мчат они Господню милость
На крыле
По земле,
И журчит их гомон вешний
В каждой речке: «здравствуй, май!»
Весь мой сад — зеленый рай,
Белым убраны черешни.

А в душе — цветок любви...
Выйди, глянь, благослови
Мой цветок весной твоею :
И отдам весну мою
И весной тебя залью
И цветки твои взлелею.

Выйди в девичьей красе,
С синей лентою в косе
В белой ткани, в белом зное !
Озари улыбкой сад...
Твой весенний аромат —
Словно яблоко лесное.

Мы уйдем бродить по нивам,
По горам,
По лугам :
Там сорву я незабудки,
Соберу с них жемчуг рос,
Жемчуг рос —
Ожерелье для малютки.

Соберу я сноп лучей,
Сноп лучей,
Нанизую роз и лилий,
Блестки, золото, багрец
И сплету тебе венец
Из мерцаний, искр и пылей.

И у волн, где спят кусты,
Полный нежности, как ты, —
Ярче, радостней, чудесней
Первых ласточек весны,
Звонче лепета волны
Зазвеню я в небо песней !

1905

ЕСЛИ АНГЕЛ ВОПРОСИТ...

— Где душа твоя, сын мой ?

— Там, на свете широком, о ангел !
Есть на свете поселок, огражденный лесами,
Над поселком — пучина синевы без предела,
И средь синего неба, словно дочка-малютка,
Серебристая легкая тучка.
В летний полдень, бывало, там резвился ребенок,
Одиноким душою, полный грезы невнятной,
И был я тот ребенок, о ангел.
И однажды казался мир окутан дремотой,
Загляделся ребенок на бездонное небо,
И увидел малютку, серебристую тучку —
И душа упорхнула, словно горлинка, в небо
К белой тучке прекрасной...

— И растаяла с нею ?

— Нет, есть солнце в лазури!
Подхватил мою душу ясный луч милосердый,
И на крыльях сиянья долго, долго порхала
Она бабочкой белой ;
И однажды, поутру, на луче золотистом
Прилетела на землю для жемчужин-росинок
И на щечке ребенка увидала слезинку,
И был я тот ребенок, и душа моя тихо
В той слезе утонула...

— И чрез миг испарилась ?

— Нет, упала на Книгу!
Был у деда косматый фолиант обветшалый,
Меж страницами — волос бороды серебристой,
Пук оборванных нитей от молитвенной кисти,
И меж буквами пятна, пятна сала и воску —
И душа одиноко в тех безжизненных буквах
Трепетала и билась...

— И она задохнулась ?

— Нет, о ангел, запела!

В тех безжизненных буквах песня жизни таилась,
В ветхой дедовской Книге сердце вечности билось.
И душа моя пела песнь о тучке сквозистой,
О луче светозарном, о слезинке лучистой,
Об истрепанной Книге в пятнах воску и сала, —
Про любовь и про юность только песен не знала.
И куда то рвалась, и томилась о чем то,
Тосковала и ныла, словно в тесной темнице ;
И однажды раскрыл я обветшалую Книгу —
И душа улетела на волю.

И с тех пор она в мире бесприютно блуждает,
Бесприютно блуждает и не знает утехи;
И в стыдливые ночи, когда месяц рождается,
Когда молятся люди над ущербом светила,
Она грезит любовью пред порогом запретным,
И стучится, прижавшись, беззвучно рыдая
И молясь о любви...

1905



Эта искра моя мне досталась
Не находкой в пути, не в наследство —
Из кремня в моем сердце добыта
Тяжким молотом бедства.

Пусть одна и мала эта искра,
Что в груди я заботливо крою, —
Но моя, вся моя, — и зачата,
И взлелеяна мною.

И когда о кремень в моем сердце
Бьет, дробя, молот скорби и гнева,
Брызжет искра моя, зажигая
Пламя в звуках напева.

И напев опалает вам душу,
И пожар в ней пылает, бушует, —
А потом за убытки пожара
Кровью сердца плачу я...

1905



Приюти меня под крылышком,
Будь мне мамой и сестрой,
На груди твоей разбитые
Сны-мечты мои укрой.

Наклонись тихонько в сумерки,
Буду жаловаться я:
Говорят, есть в мире молодость —
Где же молодость моя ?

И еще поверю шопотом :
И во мне горела кровь ;
Говорят, любовь нам велена —
Где и что она, любовь ?

Звезды лгали ; сон пригрезился —
И не стало и его ;
Ничего мне не осталось,
Ничего.

Приюти меня под крылышком,
Будь мне мамой и сестрой,
На груди твоей разбитые
Сны-мечты мои укрой...

1905

ИСТИННО, И ЭТО — КАРА БОЖЬЯ

И горшую кару пошлет Элоим :
Вы лгать изощритесь — пред сердцем своим,

Ронять свои слезы в чужие озёра,
Низать их на нити любого убора.

В кумир иноверца и мрамор чужой
Вдохнете свой пламень с душою живой.

Что плоть вашу ели, — еще-ль не довольно?
Вы дух отдадите во снедь добровольно !

И, строя гордыни египетской град,
В кирпич превратите возлюбленных чад.

Когда-ж из темницы возропшут их души,
Крадясь под стенами, заткнете вы уши.

И, если бы в роде был зачат орел,
Он, крылья расправив, гнезда-б не обрёл:

От дома далече-б он взмыл к поднебесью,
Не стал бы ширяться над вашею весью.

Прорезал бы тучи лучистой тропой,
Но луч не скользнул бы над весью слепой,

И отклик нагорный на клёкот орлиный
Расслышан бы не был могильной долиной.

Так, лучших отринув потомков своих,
Вы будете сиры в селеньях глухих.

Краса не смеется в округе бездетной;
Повиснет лохмотьем шатер многоцветный,

И светочи будут мерцать вам темно,
И милость Господня не стукнет в окно.

Когда-ж в запустенье потщитесь молиться,
Слезам утешенья из глаз не пролиться:

Иссохшее сердце — как выжатый грозд,
Сметенный в давяльне на грязный помост, —

Из сморщенных ягод живительной дани
Не высосать жажде палимой гортани.

Очаг развалился, мяучит во мгле
Голодная кошка в остылой золе :

Застлалось ли небо завесою пепла ?
Потухло ли солнце ? Душа ли ослепла ?

Лишь трупные мухи ползут по стеклу,
Да ткет паутину Забвенья в углу.

В гробе с Нищетою Тоска завывает,
И ветер лачугу трясет и срывает.

1905



Взвойте вы к змеям, и пусть разнесут вашу ярость по свету.

Брошены вы средь пустыни, на камнях ее раскаленных;
Вкруг — нагота мировая в безмолвном проклятии Бога.
Род отлученный от персей земли, вы их запах забыли,
Вид позабыли травы, благовонье цветков после ливня,
Мощь многолетних лесов, ликование водного плеска,
Свежесть и влажную тень вечно-юного дерева жизни.
Съедены крохи души, не осталось ни цвета, ни корня,
Гложете щебень земной и, алкая, лижете камень,
Ваша надежда — пустыня, молитва — шипенье гадюки,
Взор утомлен наготой и земли, и нависшего неба —
Нет ничего там для вас, и не брезжит ни сердцу, ни взору;
Яростна Божья десница, и гневно нещедрое око,
И не пошлет Он ни тучки, ни ласковых крылышек ветра —
Так догниете в тоске, в обнаженьи вселенской засухи,
Смерти моля и, как зверь, вопия под потугами жизни...

Взвойте к орлам — пусть домчат ваши вопли до высшего неба...

Вспомнил Господь, и взыскал вашу пустошь и ветром, и тучей —
С дальнего края земли прилетели гонцы возрожденья,
Влагою полные тучи, ликуя во сретенье ждущих,
Зов обновленья неся и для жажды утеху досыта;
Гром в их утробе дремал, и резвились проблески молний,
В пляске змеились меж гор и скакали по зубьям утесов.
И долетели к вам тучи, молния ярко сверкнула,
Гром, пробудясь, зарычал — и вдруг разразился — над вами!
Затрепетала пустыня, под вами земля пошатнулась,
Вы поднялись, дрожа, ослепленные, в диком смятении,
Брошены в мрак из огня, затопленные блеском и тьмою;
К облаку подняли руки, взывая глазами о капле, —
Но пронеслись облака, улетели своею дорогой;
Вам их насмешливый гром, но не вам их творящая влага.

И, сиротливо дрожа, вы остались на тернах пустыни,
С вялой последней молитвой, таящею корчи проклятий,
Тщетно о смерти моля — и гния в содроганиях жизни...

Взвойте до туч, пусть умчат ваши стоны к безбрежностям моря..

1906

Я ЗНАЛ, В ГЛУХУЮ НОЧЬ...

Я знал, в глухую ночь я вдруг погасну, как звезда.
Не будет знать звезда моей могилы,
Но гнев мой все еще дымиться будет, как вулкан,
Когда уже его погаснет пламя,
И будет жить средь вас, пока закован гром
И гнев волны таится в океане.
Но вот умножится и ваша скорбь,
Наполнит лоно мира,
И напоит собой поля небес, поля земли,
И звезды все, и травы,
И будет с ними жить, дрожать, и никнуть, и всходить,
И как они, увянув, возродится;
Свидетель зла, бессмертно простоят,
Без имени, без родины, без вида,
Без слов, без слез, и в ад, и в небо возопит,
Замедлив избавленье мира.

Когда ж взойдет сиять могилам ваших жертв
В конце земных времен светило правды лживой,
И кровью вашей пьян, взовется лицемерный стяг
В руках убийц, и нагло засмеется небу,
На стяге Божия поддельная печать
Под солнцем дерзко засверкает, —
От пляски праздничной, от кликов лжи
Ваш прах святой в могилах затрепещет,
И, омрачившись грустью вашей, дрогнет вдруг лазурь небес,
И солнце станет сгустком вашей чистой крови, —
Помета Каина над миром и бессилья знак
Для пораженной Божией десницы, —
Тогда звезда звезде воскликнет : «Вот ужаснейшая ложь !
Вот скорбь великая без меры !»
Бог мести, в сердце поражен, восстанет, возопит,
И, взявши меч великий, выдет.

1906

ИЗ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

I

Между Тигром и Ефратом,
На пригорке, на горбатом,
В листьях пальмы, вся блистая,
Княжит пава золотая.

Я взмолилась златокрылой :
Ты сыщи мне, где мой милый !
Подхвати его на месте
И, связав, умчи к невесте.

А не свяжешь, или нечем, —
Кликни зовом человечьим
И скажи... А что — не знаю...
Ты скажи, что я сгораю.

Скажешь : сад расцвел богато,
И зарделся плод граната —
Но замки-ворота целы,
И не сорван плод созрелый.

Скажешь : ночью я часами
Плачу горькими слезами
И мечусь, полунагая,
Покрывала обжигая.

А нейдет — тогда шепни ты:
Сундуки мои набиты —
Шелк, сорочки, одеяла —
Я сама их вышивала...

И перина пуховая,
Что сготовила родная
За бессонные за ночи
К ложу брачному для дочки..

И, запрятана глубоко,
Ждет фата поры до срока, —
Все по счету, я готова, —
Что ж не видно дорогого ?

* *
*

Шорох-шелест меж листьями —
Молвит пава ей устами :
«Полечу во мраке ночи
И раскрою другу очи.

В грезе образ твой навею,
В сердце зов запечатлею :
«Он проснется, хват метелку
И верхом — в твою светелку.

«Я примчался издалека,
Радость жизни, светоч ока,
И хочу не шелк прозрачный,
Но любовь в подарок брачный.

Что мне в роскоши наряда !
Мне приданого не надо :
Твои косы — шелк прекрасный,
Твоя грудь — как пух атласный.

И за мной казна большая :
Чуб — и удаль молодая.
Выходи ж навстречу друга,
Нареченная супруга...»

* *
*

Вот и ночь. Туман пронзая,
Взмыла пава золотая,
Взмыла к небу и пропала —
И обета не сдержала.

И с утра до темной ночи
Подымаю к тучкам очи :
Тучки, белые туманы,
Где же милый мой желанный ?...

II

Над колодцем, что в саду,
У ведра я тихо жду:
По субботам он стучится
У меня воды напиться.

Жарко. Все в глубоком сне :
Листья, мухи на плетне,
Мать, отец... Не спим мы двое :
Я да сердце молодое.

Да не спит еще ведро,
И роняет серебро
Кап-кап-кап на дно колодца...
Милый близко... сердце бьется...

Чу — в саду шуршат кусты —
Это пташка — или ты?
Это милый ! Скоро, скоро !
Я одна, нигде ни взора...

Сядем рядом, руку дай
И загадку отгадай :
Отчего так жадно рвется
Мой кувшин к воде колодца ?

И зачем мое ведро
Плачет, сея серебро,
Без утехи, без ответа
От рассвета до рассвета ?

И зачем так больно мне
Где то в сердце, в глубине ?
Правда ль — мама говорила —
Что тебе я опостыла? —

Отвечает мой жених:
— Сплетни недругов моих !
Через год мы, той весною,
Будем мужем и женою !

Будет чудная весна,
Небо в золоте без дна,
И деревья все с приветом
Нас осыплют сладким цветом.

Братья, сестры, вся семья,
Свахи, дружки и друзья,
Тьма гостей за скрипачами
Поведут нас со свечами.

На ковер тебя взведу —
Пред колодцем, здесь в саду ;
Ты подашь мне дар богатый —
Белый пальчик розоватый.

И промолвлю громко я :
«Посвящаю — ты моя» —
А враги придут к нам в гости
И полопают со злости...

1906—1908

ВЕЧЕР

Снова солнце взошло, вновь поникло за лес,
 День прошел, и не видел я света;
День да ночь, сутки прочь — и ни знака с небес,
 Ни привета.

И на западе снова клубятся пары,
 Громоздятся чудовища-тучи —
Что там? зиждет миры или рушит миры
 Некто дивно-Могучий?

Нет, не зиждутся там и не рушатся там
 Ни миры, ни дворцы, ни престолы:
То свой пепел струит по земным наготам
 Серый вечер бесполой.

И шепчу я: в заботах о вашем гроше
 Своего не сберег я червонца... —
И встает Асмодей и хохочет в луче
 Уходящего солнца.

1907



I

Быстро кончен их траур : отряхнулись и встали, —
Я сажуся на землю.
Голова моя в пепле, на ногах нет сандалий,
Молча жду я и внемлю.

Не могу я молиться у безмолвного храма,
Здесь мольбы мои стынут :
Еще храм их не рухнул, еще высится прямо.
Но он Богом покинут.

В сердце граур тяжелый, в сердце черная дума, —
Те проходят, не чуя ;
И сижу, без сандалий, одиноко, угрюмо,
Жду конца и молчу я.

II

И когда я погибну в вашем брошенном храме,
Захлебнусь в моей злобе —
Пусть умру средь молчанья : не пятняйте слезами
Мою память во гробе.

Семь пожаров Геенны, что прошел я при жизни,
Пусть найду и в могиле,
Лишь бы худшей из пыток — вашим плачем на тризне
Вы меня не казнили.

Дайте гнить без помехи, глядя мыслью бессонной,
Как гниете вы сами,
И обглоданной пастью хохотать о бездонной
Вашей муке и сраме...

1908



... И будет,
Когда продлятся дни, отвеча те же,
Все на одно лицо, вчера как завтра,
Дни, просто дни без имени и цвета,
С немногими отрадами, но многой
Заботою; тогда охватит Скука
И человека, и зверей. И выйдет
В час сумерек на взморье погулять
Усталый человек — увидит море,
И море не ушло ; и он зевнет.
И выйдет к Иордану, и увидит —
Река течет, и вспять не обратилась;
И он зевнет. И в высь подымет взоры
На семь Плеяд и пояс Орiona:
Они все там же, там же... и зевнет.
И человек, и зверь иссохнут оба
В гнетущей Скуке, тяжело и несносно
Им станет бремя жизни их, и Скука
Ощиплет их до плечи, обрывая
И кудри человека, и седые
Усы кота.

Тогда взойдет Тоска.
Взойдет сама собой, как всходит плесень
В гнилом дупле. Наполнит дыры, щели,
Все, все, подобно нечисти в лохмотьях.
И человек вернется на закате
К себе в шатер на ужин, и присядет,
И обмакнет обглоданную сельдь
И корку хлеба в уксус, и охватит
Его Тоска. И снимет свой чулок,
Пролипший потом, на ночь — и охватит
Его Тоска. И отхлебнет от мутной
И тепловатой жижи — и охватит

Его Тоска. И человек и зверь
Уснут в своей Тоске, и будет, сонный,
Стонать и ныть, тоскуя, человек,
И будет выть, царапая по крыше,
Блудливый кот.

Тогда настанет Голод.
Великий, дивный Голод — мир о нем
Еще не слышал : Голод не о хлебе
И зрелищах, но Голод — о Мессии!

И поутру, едва сверкнуло солнце,
Во мгле шатра с постели человек
Подымется, замученный тревогой,
Пресыщенный тоскою сновидений,
С пустой душой ; еще его ресницы
Опутаны недоброй паутиной
Недобрых снов, еще разбито тело
От страхов этой ночи, и в мозгу
Сверлит еще и вой кота, и скрежет
Его когтей ; и бросится к окну,
Чтоб протереть стекло, или к порогу —
И, заслоня ладонью воспаленный,
Алкающий спасенья, мутный взор,
Уставится на тесную тропинку,
Что за плетнем, или на кучу сору
Перед лачугой нищенской, — и будет
Искать, искать Мессню ! — И проснется,
Полунага под сползшим одеялом,
Растрепана, с одряблым, вялым телом
И вялою душой, его жена ;
И, не давая жадному дитяти
Иссохшего сосца, насторожится,
Внимая вдаль : не близится ль Мессия ?
Не слышно ли храпение вдали
Его ослицы белой ? — И подымет
Из колыбели голову ребенок,

И выглянет мышенок из норы :
Не близится ль Мессия, не бренчат ли
Бубенчики ослицы ? — И служанка,
У очага поленья раздувая,
Вдруг высунет испачканное сажей
Свое лицо: не близится ль Мессия,
Не слышно ли могучего раската
Его трубы...

1908

ПЕРЕД КНИЖНЫМ ШКАФОМ

Привет тебе, хранитель древних свитков !
Твой пыльный клад опять целую нежно...
Душа вернулась с островов чужбины ;
Дрожа, как голубь, странствовавший долго,
Она стучится в дверь родного дома.
Родные свитки ! Снова с вами я,
Питомец ваш, от мира отреченный.
Увы ! Из всех роскошных благ земли
Лишь вас одних моя познала юность ;
Вы садом были мне в разгаре лета,
В ночь зимнюю — горячим изголовьем ;
И я привык хранить средь ваших строк
Мое богатство — грезы о святые.
Вы помните ? Бывало, бет-га-мидраш
Оденет тьма ; все разошлись давно,
И в тишине придела — я один ;
Дрожа, слетает с уст молитва дедов,
А там, в углу, близ вашего ковчега,
Мерцает тихо вечная лампада.

О, сколько раз — я мальчик был, и пух
Еще не покрывал мои ланиты —
Меня ночные ветры заставали
Склоненным низко над старинной книгой,
Исполненным то грез, то тайной жути.
На столике передо мной лампада
Беспомощно и тускло полыхала,
В шкафу, средь книг, скреблась упорно мышь,
В печи трещал последний уголек ;
Я замирал, томимый смертным страхом,
От ужаса стуча зубами... Помню,
Однажды — это было темной ночью —
За окнами слепыми, на дворе,
Угрюмо плача, завывала буря ;
Трещали ставни ; духи преисподней

Стучали в дом железными крюками...
Моя твердыня рушилась во прах:
Украдкою, из-под святой завесы,
Покинув храм, Шехина удалилась,
И мой старик — моя вторая тень
И грез моих свидетель молчаливый —
И он ушел и скрылся от меня.
Лишь пламя лампы тихо умирало.
Последний раз вздыхая перед смертью...
И вдруг окно разбилось... Все погасло,
И я — птенец бескрылый — из гнезда
Упал во власть безглазой, черной ночи.

И вот теперь, чрез много-много лет,
Чело и душу мне избороздивших,
Меня опять поставил ветер жизни
Пред вами, свитки, — чада Амстердама,
Славуты, Львова, Франкфурта. Опять
Рука моя страницы ваши гладит,
И тусклый взор блуждает между строк,
В узоре букв пытаюсь отыскать
Следы моей души, — из колыбели,
Взлелеявшей ее, услышать эхо
Младенческих ее тревог и дум.
Увы, мои наставники! Спокойна
Душа моя, и взор не увлажнен...
Как ни гляжу, — узнать вас не могу я;
Из ваших букв, о старцы, не глядят
На дно моей души живые очи,
Измученные очи стариков;
Ко мне оттуда не доходит шопот
Иссохших уст, бормочущих в могилах,
Мне каждая строка — жемчужин черных
Рассыпанная нить, страницы — вдовы,
А что ни буква — бедная сиротка.
Померк мой взор, и ослабел мой слух,
Иль вы истлели, вы, сыны бессмертья,

И на земле вам больше доли нет,
И тщетно я, как тать вооруженный,
Без фонаря, киркою землю рыл,
В кромешной тьме, не ведая покоя,
И день, и ночь в могилах ваших роясь,
Я все искал златых сокровищ жизни,
Их корни снизу и с боков минуя.
А между тем сокровища сверкали
Над городом, людьми, и над холмами,
И на глазах у всех плоды качали,
И шумные водили хороводы,
Морские дали пеньем оглашая,
А до меня не донеслось и эхо.

Как знать? Быть-может —
Когда я вновь, гробокопатель, выйду,
С кладбища духа в царство черной ночи,
Тебя одну с собою принеся,
Кирка, прилипшая к моим ладоням,
И с ветхой пылью на усталых пальцах, —
Быть-может, я — беспомощней, бедней,
Чем раньше был — воздену руку к ночи,
Моля ее принять меня на лоно
И ласково плащом закутать черным,
И ей скажу, смертельно утомленный :
Приди, о ночь, и темными крылами
Покрой меня : я из могил бежал,
И сердце жаждет вечного покоя !
А вы, светила ночи, братья в духе,
Наперсники моей души !
О, почему храните вы молчанье ?
Ужель вам брату нечего сказать
Златых ресниц нежнейшим трепетаньем?
Быть-может, есть, — но ваш язык забыл я,
Таинственных речей не слышу ваших ?
Ответьте, звезды, ибо я тоскую.

1910



И сказал Аmassия Амосу :
Провидец, беги !..
(Амоса, VII, 12).

Бежать ? О, нет ! Привык у стада
Я к важной поступи вола :
Мой шаг тяжел, и речь без склада
И, как секира, тяжела.

Мой пыл угас, и в сердце холод,
Но не на мне за то позор :
Не встретил наковальни молот,
И в гниль обрушился топор...

Что ж, покорюсь Судьбе решенной,
Свяжу мой скарб, стяну кушак
И прочь пойду, цены поденной
Не заработавший батрак.

И будут рощи мне подруги,
И будут доли мой приют,
А вас — а вас лихие вьюги,
Как сгнивший мусор, разметут...

1910

ТАК БУДЕТ, — НАЙДЕТЕ ВЫ...

Так будет, — найдете вы летопись сердца
На площади пыльной,
И скажете : Жил человек прямодушный,
Усталый, бессильный.

И жил, и работал, смиренно готовый
В углу затаиться.
Встречал он без радости и без проклятья
Все, что ни случится.

Пойдет простодушно, — пути его были
Всегда не лукавы.
От малого дела не шел за великим,
Не жаждал он славы.

Незваное, поздно придет ли величье
С ликующим звоном.
Он станет, он глянет, дивясь, но тотчас
Уходит с поклоном.

Стучится ли в дверь к нему поздняя слава,
Ее не впускал он.
И наглость собачью, и заячью кротость
Равно презирал он.

Приют для души — невеликая келья
В одно лишь оконце.
В ней дух не являлся ни адского мрака,
Ни горнего солнца.

Молитву он знал, — тяжело ль становилось,
Он в келью стремился,
Склонялся к окну, трепетал и пылал он,
И тихо молился.

И длилась молитва, как дни его жизни,
Но Вышняя сила
Дала, что не надо, — в единой надежде
Отказано было.

До смерти душа не отчаялась в Боге,
Ждала утешенья,
И сердце молилось, и умерло сердце
Во время моленья.

1910

ВЕТКА СКЛОНИЛАСЬ

Ветка склонилась к ограде и дремлет —
 Как я — нелюдимо...
Плод пал на землю — и что мне до корня,
 До ветви родимой ?
Плод пал на землю, как цвет, и лишь живы
 Листья с их шумом !
Гневная буря их скоро развеет
 Гленом угрюмым.
Будут лишь ночи, лишь ужас, где мира
 Не ведать, ни сна мне —
Где одиноко мне биться средь мрака
 Главою о камни.
Буду угрюмо висеть я на ветви
 Весною зеленой —
Прут омертвелый, нагой и бесплодный,
 Средь цвета и звона...

1911

ДА БУДЕТ УДЕЛ ВАШ БЕЗМОЛВНЫЙ

Да будет удел ваш безмолвный
 Моим вожделенным уделом,
Вы, ткущие жизнь свою втайне,
 Стыдливые словом и делом !

Молчальники, в сердце смиренном,
 Как жемчуг в жемчужнице тесной,
Святую мечту вы таите,
 Богатство души бессловесной.

Добру в вас, как ягодам леса,
 Привольны завесы густые ;
Ваш дух — словно храм заповедный,
 Уста — что врата запертые.

Во сне вам не снилось, убогим,
 Что всех вы вельмож благородней,
Художники умного дела,
 Священники тайны Господней.

Не видел чужой соглядатай
 Ни ваших торжеств, ни печали ;
Задумчиво взор ваш уходит
 Все в те же прозрачные дали.

И мудрая та же улыбка —
 Познания, прощенья, участия —
Всех мимоидущих встречает,
 Напутствует всех без пристрастья :

Великих равно — и ничтожных,
 И добрых и грешных скитальцев.
Вы тихо проходите миром,
 Как-будто на кончиках пальцев.

Но бодрствует око, слух чуток,
Высокое — сердце приметит,
Всем трепетам жизни прекрасной
Биеньем согласным ответит.

Где ваша стопа ни ступала,
Там сеяли вы ненароком
Сев помыслов чистых, и вера
Поила те глыбы потоком.

Как небо лазурью исходит,
Как свежесть дубравы наводят,
Так вера из сердца струится,
Но слов ей уста не находят.

Устам заповедано слово,
Перстам — красоты сотворенье ;
В безмолвие вы погрузили
Глубоких восторгов горенье.

И доли вам нет меж провидцев,
Ни места за трапезой пышной ;
На стогнах следов не оставит
Нетягостный шаг и неслышный.

Из жизни псалом вы сложили:
В ней сладость и стройность в ней та же,
Вы Образа Божия в людях,
Подобья Господнего стражи.

Дыханием каждым и взором
Служа в тишине Человеку,
Вы лепоту духа струите
В мирскую вселенскую реку.

И сердце потока поите
Из недр, ключевые криницы.
Аминь ! Мановенье не сгинет
Чуть дрогнувшей вашей ресницы.

Но, — как песнопенье созвездий, —
Мерца в недвижимом величье,
Воскресшее станет над миром
Небесное ваше обличье.

Замрут стародавние струны
И древнего мудрость глагола,
Забудутся Иеман, Иедуфун,
Вещанья Дардо и Халкола :

Но ваши, и в роде грядущем,
Живые черты не увянут,
И в Лике едином, последнем —
И лик ваш, и взор ваш проглянут.

1915

МЛАДЕНЧЕСТВО

Тайно от мира, одну за другой, как звезды под утро,
Жизнь погасила во мне сокровенные сердца надежды.
Все-же томленье одно я сберег, одно упование:
Голос его не умолкнет в груди; ни шум повседневный
Песни святой заглушить, ни злокозненный демон не может.
Если еще, наяву ли, во сне ль, хоть на миг мимолетный, —
О, хоть на миг мимолетный! — пред Господом светел предста
Час мой закатный, молюсь, да вернет сновидение утра,
Ясность младенчества вновь озарит обновленное сердце!

Дух мой нечист, и моя же рука осквернила венец мой;
Божьи забыл я стези, не стучусь у дверей Милосердья;
К зовам оглох, и незряч на знаменья, — звезд отщепенец,
Неба отверженец; лугу чужой; не приветствуем в поле
Лаской колосьев, как встарь; отрешен от видений начальных;
Чужд и себе самому. Но в хранилище тайном вселенной,
Где не исчезнет ничто и ничей не изгладится образ, —
Цело и детство мое, как печать на деснице Господней.
Смене времен не подвержен тот лик, незапятнан, нетронут, —
Вечной зарею в оправе своей издалече мне светит,
Путь мой следит, и считает шаги, и мигает ресницей. . .

Где ты? — далече! — родимый мой край, колыбельная пристань,
Почва корней моих, духа родник и мечтаний услада,
Милый душе уголок, излюбленный в мире просторном, —
Нет ни травы зеленой, чем твоя, ни лазури прозрачней!
Память, мой край, о тебе — как вино: тем душистей, чем старе;
Первого снега белеет она чистотой непорочной . . .
Первого утра виденье и первого сна изголовье,
Родину тихую, край целомудренный в прелести свежей,
Скрытый меж гор и дубрав и всех мест под солнцем юнейший,
В глубь ветвящий стези, и тропы свои в рожь золотую,
В тихих созвучиях полдень и ночь согласующий, утро
С вечером, — вижу его, как он цвел, как сиял изначально

Сердцу, как образ его начертал в моем духе Создатель,
Чтоб до последнего дня и по край земли неизменно
Целостным нес я тот образ в груди, все тот-же — в весенней
Нежности, в летних лучах, под осеннюю мглой и под снегом
Так мне, недвижимый, застылый с природою всей, предстоит он,
Солнцем живым осян иль торжественным таинством ночи,
Уст моих чистых дыханье храня, лелея мой детский
Трепет на глыбах камней, в одиночестве дебрей угрюмых,
В таянии облака, в дрожи листа, унесенного ветром
С древа . . . Поднесь те леса чаровательно ткнут свои тени,
Каждая ветвь в них цела, нить каждая сети волшебной;
Сладостных страхов былых сокровенные заросли полны;
В чаще кустов притаились нежнейшие дремные грезы.
Горы в коврах цветотканых, — незыблемы; мягкие склоны
След моих ног берегут и, как встарь, улыбаются гостю;
Эхо восторгов моих в их расселинах, чуткое, дремлет;
Дух мой все бродит по ним и, дивясь их величию, немеет.

Кров мой родной, гнездо безопасное, скиния мира,
Матери светлым лицом озаренная, где возростал я
Ласки живой под крылом хранительным, где предавался
Неге беспечной, прильнув к благовонному лону родимой!
Вижу тебя на отлогом холме, под навесом каштана,
Сельский приют и простой! Ты все там же, где встарь, неизменный,
Белый, под низкою кровлей, с оконцами малыми, домик!
Выступы мхом зеленеют, трава прорастает сквозь щели.
Окрест — сады, да глушь и бурьян. Молчаливо над ними
Время волокнами туч проплывает; белевский домик,
Мнится, следит на-юру, день и ночь, издали за жизнью,
Да обо мне вспоминает, о беженце дальнем, с тоскою . .
Там и донныне скользит моя тень в уголках потаенных . . .

Знаю: единожды пьет человек из кубка златого;
Дважды видение света ему не даруется в жизни.
Есть лазурь у небес несказанная, зелень у луга,
Свет у эфира, сиянье в лице у творений Господних:

Раз лишь единый мы зрим их в младенчестве, после не видим.
Все-же внезапное Бог дает озарение верным;
Чуда того неразгадан исток, сокровен от провидцев.
Молча готовлюсь и жду, день и ночь, манования свыше, —
Весь напрягаюсь, как арфы струна, простираюсь навстречу;
Где и когда это будет — не ведая, вестника чаю.
Сердце пророчит: вспомнит меня виденье святое;
То, чего жаждет душа, навестит ее. И величавый
Миг настанет, — мигнет ресницею Вечность, и глянёт
Сверху, как в дол из окна разверстого, в душу былое.
Очи мои просветятся, прояснятся взором дитяти:
В образах многих и сменах — единое, слито с природой,
Детство мое протечет по тропам покинутым духа.
Темные вспыхнут сияньем тропы заповедные, ярче
Утренних снов; голоса зазвучат; приблизятся дали;
Чудо забвенному краски вернет, безуханному запах.
Будет мгновенным виденье, но миг тот единый затопит
Сладостным сердце приливом, — и в нем изойдут мои силы...
Буду стоять, изумленный, пред только-что виденным миром
Многих чудес и святынь, пред оградой запечатленной
Рая, чьих тайн не коснулась рука, не измолвило слово.
Гулом исполнится дух; надо мной — удивление Божье;
Очи в слезах; в глубине — торжественный гул, безглагольный

1917

ПОЭМЫ

ПОДВИЖНИК

(Отрывки из поэмы)

Еще сохранились на нашей чужбине
Забутые миром, глухие углы,
Где древний наш светоч дымится поныне,
Чуть видно мерцая под грудой золы.
Забитые души, унылые души,
Последние искры большого костра,
Там чахнут, как травка средь зноя и суши,
Без срока, без смысла, без зла и добра.
И вот, иногда, по глухим этим гнездам
Проходишь ночью порой, одинок,
В гот час, когда счету нет на небе звездам,
И шепчет трава, и шуршит ветерок, —
И вдруг донесется невнятно и тупо
Бормочущий голос, тоскливый, как вой.
И тень ты увидишь в окошко — тень трупа,
Который трясется, как будто живой —
Дрожит, озаренный мерцающей свечкой,
Бормочет и стонет под шорох страниц:
То учится юный Подвижник за печкой
В одной из молелен-темниц.

Не день, не неделю, не месяц он зачат, —
Шесть лет в этом доме провел он подряд:
Здесь детство завяло и юность уж вянет,
И выщвели щеки, и вылинял взгляд.

.
Шесть лет — лучших лет расцветающей силы,
Как тень, пролетели над ним без следа,
Как будто далеко от этой могилы
Шло время, не зная дороги сюда;
Как будто давно уж за ветхим порогом
Не стало вселенной, застыла земля,

И вокруг не менялись, разубраны Богом
То в саван, то в зелень, леса и поля;
Как будто бы солнце меж ветками сосен
Ему не бросало в окно свой привет,
Как будто не жил он, как будто не рос он —
Как тень, как насмешка, шесть лет!

Шесть лет! И в стоячей воде ешибота
В шесть лет совершилась череда перемен:
Ведь есть же и сердце, и к жизни охота,
И страсти в питомцах святых его стен.
И веянья мира врывались сквозь стены:
То полны скамейки, то пусты они;
Приходят, уходят за сменами смены;
Иных ждут родные на «Грозные Дни»;
Иные весь праздник в селеньях окрестных
Гостят на свободе (смотрителя нет!):
У добрых людей, неученых, но честных,
Грядущим раввинам — приют и привет.
А есть и другие — конец их печальный,
И след их утерян: их выгнали прочь.
Один был застигнут с колодой игральной,
Другой — со служанкой в весеннюю ночь,
А третий — в субботу с цыгаркой заветной
В убежище тайн, где не видит никто;
Четвертый попался за книжкой запретной,
А пятый — а пятый не знаю за что.
Иным повезло — им достались жены
Из пышных толстух, деревенских девиц;
Тот кончил — теперь он раввин и ученый
В одной из великих соседних столиц;
Но он — он прилип, никуда не стремится,
Закрыла весь мир от него пелена;
А что перед ним? Темный угол — страница —
А дальше — глухая стена.

С зарею, когда не различите взглядом
«Меж белым и синим, меж волка и пса»,
И в сумраке тихом горят мириадам
Еще не погасших светил небеса; —
Последнюю мирно вкушая дремоту,
Застыл городок, и петух не пропел,
И набожный люд, аки лев на охоту,
Еще на молитву восстать не успел; —
И мир словно весь притаился, безмолвный,
И ждет к обновленью призыва с небес,
И грезит он грезу последнюю, полный
Волшебных намеков, и тайн, и чудес; —
В святой тишине, и могучей, и кроткой,
Сокрыты его голоса и черты; —
В тот час, пробудясь от дремоты короткой,
Встает наш Подвижник среди темноты.
И слышит один только ветер летучий
Шаги по дороге, где нет никого,
И видят одни только звезды да тучи
Ночную тропинку его.

И вот по дороге, бывало, запляшет,
Как бес-искуситель, пред ним ветерок
И пейсики гладит, и ласкою пашет,
И на ухо шепчет греховный урок.
А красные веки, слипаясь краями,
Как будто бы молят его: «Пожалей!
Глаза твои слепнут и гаснут под нами,
Устали мы с ними от пытки твоей.
Вчера ты нас мучил весь день и полночи,
А летом так долги горячие дни!
Твой сон не успел освежить нас, нет мочи,
Мы больше не можем — вернись и усни!»
Но вдруг, отгоняя греховные думы,

По векам проводит он тошей рукой,
И снова шаги нарушают угрюмый
На улицах сонных покой.

Но ветер не сдался — он прячется в зелень,
И манит, травую, листвою шурша:
«Приди к нам, покойся, — ковер твой постелен
Пусть свежестью нашей напьется душа!»
«Мы дремлем» — лепечут с истомою сонной
Листочки и травы пред ним и над ним,
И звезды мерцают из выси бездонной:
«Мы тоже — с глазами открытыми спим» ...
Все пахнет — и сад, и деревья, и поле,
И сладкая в горло струится волна,
И, пьяный, он дышит, почти поневоле,
Всей грудью, всей грудью, до самого дна.
Бескровные губы широко раскрыты,
Широко раскрыта под воротом грудь, —
И, словно наемник, таскавший граниты,
Все тело, все члены вопят: «отдохнуть!»
И вот простирает он руки без силы,
Как будто бы просит спасти и помочь:
«Возьми меня, ветер, укрой меня, милый,
Устал я, мне тесно, умчи меня прочь!» —
Но вдруг пробежало мгновенье тревоги
Среди зашумевших о чем-то ветвей —
И он вспоминает, что сбился с дороги,
И мчится, спасаясь от адских сетей.
И вновь, напевая невнятно и глухо,
Весь день простоят он в углу недвижим —
И в эти минуты, на подвиге духа,
Что сталь и гранит — перед ним?

· · · · ·
· · · · ·

«Так учит нас Рава» . . . «Так учит Аббайя» . . .
И, шопотом хриплым весь мир заглуша,
Не слышит он сам, что в груди, погибая,
Рыдает и молит живая душа.
Не слышит, не слышит! И смолкнут моления.
Душа онемееет, завянут мечты,
Угаснут желанья, зачахнут стремленья,
Растоптаны, сгинут во мраке цветы, —
И станет душа его грудюю пепла,
Сгорев ненасыщенной жаждою див,
Затем что иссохла, оглохла, ослепла,
Нигде не любима, нигде не любив;
Глаза, одаренные дивною властью
Объять беспредельный простор мировой,
Потухнут, не видеv, не вспыхнуvши страстью,
Ничем не пленившись от жизни живой;
Как призрак, — как ящер в заброшенной щели,
Не жив, отживет он отвергнут и нем . . .
Зачем он родился и гибнет без цели,
И он, и другие — зачем?

.
.

1895

ЗОРИ

Я рос одиноко, и в детстве безлюдном
Любил притаиться, уйти в тишину;
В душе моей жажда о светлом и чудном
Шумела, бродила, подобно вину.
Часами я грезил в углу незаметном,
И в око вселенной гляделся мой взор;
Слетались друзья — пошептать о заветном,
И в сердце их голос звучит до сих пор.

Друзей было много: и пташка, и мошка,
И куст, и березка, и кучка грибов,
Луна, что стыдливо сияет в окошко,
Скрипенье калиток и мрак погребов;
Колючий репейник под старым забором,
Лучи, что струятся капризным узором
От солнца, от свечки, осколков стекла,
Чердак, паутина пустого угла,
Таинственный сумрак в пучине колодца
(И сладко, и жутко тому, кто нагнется!),
И эхо, и зыбкий мой образ на дне,
И скрежет пилы, и часы на стене,
Что смутно лепечут — быть может о Боге;
И дикая груша, и вдруг, на дороге,
Из сада чужого упавший орех,
И божья коровка, что в панцырь одета, —
Друзей было много. Но лучше их всех —
 Лучи золотистого света.

Я летом узнал их. Малютки-лучи,
Как ангелы лёгки, как кровь горячи,
Однажды резвились по речкам и нивам
И вдруг обожгли, веселясь, и меня —
И радость меня подхватила приливом,
И взор мой блеснул первой искрой огня.

И стал я собратом их тайного круга, —
И как полюбили мы славно друг друга!

Бывало, чуть свет (так уютна кровать!)
Они уж стучатся в окошко: вставать!
Вскочу, одеваюсь, сквозь сон еще млея —
Они мне мигают, торопят: живее!
Куда-то сапог я забросил вчера,
Ищу впопыхах — а снаружи: пора!
Оденусь, и к двери опрометью кинусь —
Их нет, разлетелись и дразнят: лови нас!
Я здесь, я на крыльях сиянья лечу, —
Я брат ваш, я легкий, подобно лучу, —
Летим на поляну, под хохот и визги
В траве повалиться, росистой, густой,
И вдруг, рассыпая жемчужные брызги,
Пройтись по зеленым коврам чехардой!

Упали в траву, и ныряем в росинках,
Заискрился луг от веселой толпы,
Алмазы без счету горят на былинках,
И радугу мечут, сверкая, шипы —
На каждой колючке, на каждом листочке
Дрожит и блестит по мерцающей точке,
Султан изумрудных лучей...

И вдруг — взволновался стотысячеглазый
Сверкающий луг, — изумруды, алмазы
Смешались в одно ослепленье очей:
Забрел к нам теленок, отставший от матки,
Сбежались цыплята порыться в корнях —
Шныряют, ныряют, и прячутся в прятки;
И луг улыбнулся, сияя в огнях.

Как горлинка в небе, я плаваю в свете —
Дрожу в нем, опутан, как горлинка в сети,
Опутан, окутан миллионом обвитий

В его золотисто-лазурные нити:
То детство лучится и солнцу смеется;
И губы смеются, и сердцу поется.
От ласки сияний, без грани, без краю
Я искрюсь, я тлею, я млею, я таю...

Я пьян от сиянья, в плену, в забвении —
Они меня будят и кличут : на нивы !
И в миг уж мы там, и горят переливы,
И резво скользят золотые струи
По резвым головкам колосьев усатых...
И весело ниве. Тьма пестрая птиц
Проносится мимо с приветом «цвиц-цвиц».
Рой бабочек легких и тканнокрылатых
Порхают и реют и выются над ней,
Дрожа мириадам стоцветных огней,
Белеют, багрятся, горят, золотятся,
И тонут в сиянии, и снова рождаются,
Как будто бы некто, шутя, с высоты
Пригоршнями сеет живые цветы ;
Резвятся, танцуют с лучами над нивой,
Гонясь за ними в игре шаловливой
Под гомон и звон скрипачей полевых —
Оркестра, что скачет, трещит и стрекочет,
Жужжит и сверлит и скрежещет и точит —
И воздух как будто звенит и не хочет,
И сонно рокошет, и в рокоте тих...

Жара. Утомилась веселая банда.
Купаться, на пруд ! — прозвенела команда
И мчатся, играя, гоняясь, спеша,
К пруду, что сияет в кольце камыша.

Чуть плещутся воды под полднем, ленивы,
То искрясь на солнце, то прячась под нивы.
Как зеркало блещет одна полоса,

И в ней отразилась высь голубая,
Жемчужные тучки проносятся, тая, —
И все там иное : не те небеса,
Свет солнышка мягче горит, охлажденный,
Фатою покоя подернут весь мир
И нежится в глуби спокойной и сонной,
Где все — безмятежность, и греза, и мир...

А дальше, объятая сладостной ленью,
Зеленая влага замкнута в залив,
И справа и слева насупился тенью
Над царством подводным прибрежный обрыв ;
И там опрокинут камыш золотистый,
И волосы ивы плакуче-ветвистой,
И камни, и бедный челнок у ствола,
И жилы корней над обрывом, утята,
И аист без правой ноги, что поджата,
И прачка босая — все тенью объято,
Все свежесть, прохлада, и сумрак и мгла...

А дальше — ковер из сверкающих струек
И змеек и блесков и звезд и чешуек,
Сплошной золотой ярко-трепетный плеск, —
Распались два солнца, что сверху и снизу,
И пыль их слилась в искрометную ризу,
Где все — ослепленье, мерцанье и блеск !

Купаться, купаться ! — И, дрогнув, потрясся
Сверкающий в искрах и блесках ковер
И стал, как одна раскаленная масса,
И тысячи красок смешались в узор,
И дрогнул подводный небесный шатер,
И дрогнуло солнце, и на-семь распалось,
И семеро солнц на волнах закачалось,
Друг с другом играя, друг друга дразня,
Слилось, и распалось, и снова слилося —

И с миром подводным исчезло в хаосе
Потопа сияний и в море огня.

И я, в море света без дна и без грани,
Как губка, вливаю богатство сияний,
Очищен и влагой, и лаской лучей ;
И тысячью горных журчащих ключей
В душе моей радость звенит и трепещет,
Как музыка танца, что льется и плещет
 По струнам бесчисленных арф...

Я вышел и сел на зеленое ложе —
Любуюсь на зыбь угасающей дрожи,
На зыбь, что струится, как газовый шарф,
На зыбь, что сверкает багряным отливом,
И жжет фейерверк из малюток-ракет,
И искры взметает последним порывом —
Слабее — слабее — и стихла — и нет...

И вновь, как дотоле, спокойное лоно
Зеркально и ясно, недвижно и сонно,
И мир отраженный застыл, молчалив,
 Под тенью таинственной ив.

И только напротив, где, ровен и гладок
Сливается берег с лучистой водой,
Свой невод волочит рыбалка седой,
И сыплются капли, как тысяча радуг,
Алмаз за алмазом, звезда за звездой... —
Не мне ль он струит золотистое зелье
В хрустальную чашу ? Я весь опьянен...
А капли бегут и плетут ожерелье...
 И легок и сладок мой сон.

Вдруг — по водам, над покоем
Их сверкающей парчи,
Пронеслися легким роем
Шалуны-лучи.

Чище света, легче дыма,
Словно только сорвались
С нежных крыльев херувима,
Что умчался в высь ;

И хранят еще их глазки
Отраженье Божества —
И поют, кружась в пляске,
Дивные слова :

«Приди к нам, малютка,
Приди к нам, прекрасный,
Приди к нам за светом,
Пока не темно, —

В пучине сиянья
Безбрежной и ясной
Утонем и канем
Глубоко на дно.

Там в зале зеркальной
Средь башни хрустальной
Есть яхонт, как солнце
С лазурным огнем.

То свет первозданный,
То свет изначальный —
И полную чашу
Тебе мы нальем.

И выпьешь, и светом
Наполнятся ткани,
И брызнут, и хлынут,
Подобно слезам,

Лучистые ласки
Несчетных сияний,
И в сладостной муке
Исчезнешь ты сам...»

Не смолк еще лепет невнятного хора —
Они уже в чаще соседнего бора,
Бросают мне взором прощальный привет,
Мигают : «до завтра !» — и скрылись. Их нет

.
.

И было однажды... Когда это было ?
За что ? — Я не знаю, не помню того ;
Но взор их прощальный погас так уныло,
И мне не сказал ничего...

На утро — какой то неласковый, грубый,
Свет солнца обжег мне ресницы и губы ;
Взглянул я в окошко — там солнце не то ;
Я ждал — и никто не вернулся, никто...
И песенка Зорь онемела навеки.

Но в сердце звучит ее эхо, и некий
Живет ее отблеск в мерцаньи зрачка ;
И лучшие сны мои в мире холодном,
И лучшие грезы о счастье свободном
Бегут из ее родника.

1901

МЕРТВЕЦЫ ПУСТЫНИ

40. И встали рано поутру, и поднялись на вершину горы, и сказали : мы взойдем, мы взойдем на то место, о котором изрек Господь запрещение за то, что мы прегрешили.

44. И дерзнули они подняться на вершину горы ; а ковчег Завета Господня и Моисей не тронулись из среды стана.

45. И сошли Амалекитянин и Ханаанеянин, обитавшие на той горе, и разбили их, и поразили их до истребления.

(Числа, XIV)

Сказал мне тот Араб : пойдем, я покажу тебе Мертвецов Пустыни. Я пошел к ним и видел их ; они казались только одурманенными, и лежали они навзничь. У одного из них было согнуто колено ; тот Араб въехал под колено верхом на верблюде, и в руке его поднятое копье — и не коснулся его.

(Из странствий Рабба-Бар-Бар-Ханы : *Vaba Bathra* 73, 74)

Го не косматые львы собралися на вече пустыни,
Го не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, —
В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,
В гордом покое, давно, спят у темных шатров великаны.
Вдавлен под каждым песок, уступивший тяжелой громаде ;
Крепок их сон на земле, и уснули в воинском наряде —
Каменный меч в головах, закинута копьа за спины,
Дротики лесом торчат из песка, словно роща тростины.
Головы в космах назад опрокинуты, тяжко, лениво,
Кудри рассыпались вокруг, густые, как львиная грива,
Грозные лица — как медь, очерненная жаром полдненным.
Резвой игрою лучей и бурей в безумии гневном ;
Строги могучие лбы, что в небо с угрозой глядятся ;

Брови нависли, как чаща, где страшные чуда гнездятся ;
Пряди густой бороды, словно змеи, сплетенные в схватке,
Кроют гранитную грудь и вьются по ней в беспорядке ;
Грудь — словно наковаль Божья, что с молотом тяжким знакома:
Чудится — Время свой молот, разящий ударами грома,
Долго пытало на них, и внутри затаенная сила
В глыбу сковалась и так навеки безмолвно застыла ;
Только глубокне шрамы, как надпись на древней гробнице,
Зоркому скажут орлу, что парит над безгласной станицей,
Сколько и стрел, и мечей, и всех смертоносных орудий
В брызги и пыль раздробилось об эти гранитные груди.

Солнце вставало и гасло, и шло за столетьем другое;
Степь содрогалась от бурь и опять застывала в покое...
Словно в тоске о былом, синеют за далью равнины,
В гордой, безмолвной красе, одиноки отвека, вершины.
На трое суток пути — ни звука в пространствах сыпучих :
Смолк, поглощенный пустыней, клич поколенья Могучих,
Стер ураган их шаги, потрясавшие землю когда то,
Степь затаила дыханье, и скрыла, и нет им возврата.
Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока,
С запада буря придет и умчит его пылью далеко,
До городов и людей донесет и постелет, развеяв, —
Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев,
Вылижет прах бездыханного льва живая собака,
И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака...

Зной и затишье. Но вдруг, иногда, на просторе песчаном
Черная тень промелькнет, поплывет над поверженным станом,
В ширь и в длину и вокруг очертит во мгновение ока —
И неподвижно замрет над одним из уснувших глубоко.
Сам он и на семь локтей в окружении все потемнело ;
Миг — содроганье — шум крыл — и паденье могучего тела :
Тяжкою глыбой низвергся на ребра недвижимой цели,
Мощно-крылат и когтист, горбоносый орел, сын ущелий.
Хищные когти орла — как булат дорогого чекана,

Но, как алмаз, отвердела широкая грудь великана ;
Миг — и борьба началась, состязанье гранита и стали.
Вдруг — содрогнулся орел, отстранился, глаза засверкали:
Дивно покоится вкруг, величава, дремучая сила...
Вздригнул, и крылья простер, и вознесся к зениту светила,
Хрипло к могучему солнцу бросил свой клекот могучий,
Выше, и выше, и скрылся в бездонном просторе за тучей.
Только внизу, на копье, бездыханной рукою зажатом,
Бьется перо — бурый клоч, оброненный монархом пернатым,
Бьется, трепещет и блещет, одно, сиротливо-чужое...

Спят исполины. Ни звука. Пустыня застыла в покое.

Или, бывало, чуть полдень окутает степь, темносиний —
Выполз узорчатый змей, из великих удавов пустыни,
Выполз, и свился в кольцо, блестя чешуей расписною;
То он недвижно лежит, отдаваясь недвижному зною,
Тая в истоме жары и купаясь в сиянии лета ;
То распрямится навстречу лучам золотистого света,
Пастью широкой зевнет и, волнуя свои переливы,
Баловень старой пустыни, резвится в песке, шаловливый.
То — встрепенулся, рванулся, пополз с тихим свистом шипенья,
Быстро толчками скользит, извивая упругие звенья, —
Вдруг — перестал, и на треть поднялся, как обломок колонны —
Столп из кумирни волхвов, письменами волшбы испещренный,
И золотистой повел головою, от края до края
Нечто медлительным взглядом пронзающих глаз озирая :
То исполины пред ним, лежат без числа и предела,
К небу нахмурены брови грозно и гневно и смело ;
Вспыхнула в глазах змеиных, зеленым огнем пламенея,
Искра шипящей вражды, заповедной от древнего змея, —
Легкой волной прокатился трепет безмолвного гнева
От расписного хвоста до разверстого черного зева,
Пестрое горло раздулось, и, злобно шипя, задрожало,
Словно вонзиться готово, двуострое черное жало.
Миг — и отпрянул назад, свернулся, шипенье застыло :

Дивно покоится вокруг, величава, дремучая сила...
Прянул назад, и уполз, и, сверкая, клубятся спирали,
Искрятся, рдеют, горят — и исчезли в мерцаниях дали.
Спят исполины. Ни звука. Пустыня застыла в покое.

Или подыметса месяц на тихое небо ночное ;
Степь и открыта и скрыта, разубрана черным и белым :
В белом — безбрежный песок, уходящий к безвестным пределам,
Черным очерчены тени высоких и мрачных утесов :
Мнится — не тени, а стадо слонов, допотопных колоссов,
Что собрались помолчать о тайнах Былого на вече,
Встанут с зарей, и пойдут, и тихо исчезнут далече.
Грустно и жутко луне, ибо там, на равнине бескрайной,
Ночь, и пустыня, и древность сливаются тройственной тайной ;
Грустно и жутко пустыне, и сон ее — скорбь о вселенной,
И за бездонным молчаньем чудится стон сокровенный. —
Лев иногда в эту пору, могучий, проснется, воспрянет,
Выйдет, неспешно ступая, дойдет до гигантов, и станет,
Голову гордо подымет, венчаный косматым убором,
Недра безмолвного стана роя пылающим взором :
Стан исполинов велик, и великая тишь над равниной,
Сон их тяжел и глубок, и не дрогнет ни волос единый,
Словно б их тенями копий, как сетью, земля прикрепил.
Долго глядит он на них : величава дремучая сила, —
Вдруг колыхнул головой — и, гремя, раскатилось рыканье,
И необъятно кругом по пустыне прошло содроганье,
Рухнуло эхо, дробясь, и осколками грянуло в горы,
И мириадам громов ответили гулко просторы,
Где то заплакали совы, где то завывли шакалы,
Ужас и трепет и вопль наполнил равнину и скалы —
То застонала, полна вековых несказанных уныний,
Устали, голода, боли, — жалоба старой пустыни.
Миг он, внимая, стоит — и, насытятся мощью державы,
Вспять обращает стопы, спокойный, большой, величавый ;
Полузакрыты, горят равнодушным презрением очи,
Царственна поступь его, — и скрылся за пологом ночи,

Долго, рыдая, дрожат пробужденные скорбные звуки :
Стонет пустыня, ей тяжело, и ропщет на горькие муки ;
Лишь пред зарей, утомясь, затихла в дремотном тумане,
Спит и не спит, и о завтра плачет неслышно заране.
Тихо восходит заря... Пустыня застыла в покое.
Спят исполины. Ни звука... Идет за столетьем другое...

Но иногда, возмуться против ига молчанья и скуки,
Мстит и пустыня Творцу за свои одинокие муки:
Бурей встает, и смерч воздымает к обители Божьей,
Яростно мечет, и рвет, и у трона колеблет подножье,
Вызов бросает Творцу и, бунтуя в безумной крамоле,
Рвется низвергнуть Его, и Хаос утвердить на престоле.
Дрогнул от гнева Творец ; миг — и нет уж лазури безбрежной :
Как раскаленный металл, небеса над пустыней мятежной ;
Хлещет багровый поток, затопляя в бушующей лаве
Богом разрушенный мир и вздымаясь до горных оглавий, —
Дико взревела земля, смешалось небо с пустыней,
Тучи с сыпучим песком в единой бурлящей пучине,
И, от шакала до льва, до могучего льва-великана,
Все закружилось, как пыль, в безумном кольце урагана.

В эти мгновенья —

Вдоль по рядам исполинов проносится гул пробужденья,
И от земли восстает мощный род дерзновенья и брани,
С яростью молний в очах и с мечом в гордо поднятой длани,
И, раздирая рычанье и грохот и свист урагана,
К небу подьмется клич, грозный клич от несметного стана,
Ширясь, гремит и гремит и несется над бурей далеко :

— Мы соперники Рока,

Род последний для рабства и первый для радостной воли!
Мы разбили ярем, и судьбу мятежом побороли ;
Мы о небе мечтали — но небо ничтожно и мало,
И ушли мы сюда, и пустыня нам матерью стала.
На вершинах утесов и скал, где рождаются бури,
Нас учили свободе орлы, властелины лазури, —

И с тех пор нет над нами владыки!
Пусть замкнул Он пустыню во мстительном гнѣе Своем :
Все равно — лишь коснулись до слуха мятежные клики,

Мы встаем !
Подымайтесь, борцы непокорного стана :
Против воли небес, напролом,
Мы взойдем на вершину !
Сквозь преграды и грохот и гром
Урагана !

Мы взойдем на вершину, взойдем
Пусть покинул нас Бог, что когда то клялся : Не покину ;
Пусть недвижен ковчег, за которым мы шли в оны лета —
Мы без Бога пойдем, и взойдем без ковчега Завета.
Гордо встретим Его пепелящие молнией взоры,
И наступим ногой на Его заповедные горы,
И к твердыням врага — кто б он ни был — проложим дорогу !
Голос бури — вы слышите — чу ! —
Голос бури взывает: «Дерзайте!»

Трубите тревогу,

И раздолье мечу !

Пусть от бешенства скалы рассыплются комьями глины,
Пусть погибнут из нас мириады в стремленьи своем —
Мы взойдем, мы взойдем
На вершины! —

И страшно ярится пустыня, грозней и грозней,

И нет ей владыки ;

И вопли страданья и ужаса мчатся по ней,

Безумны и дики,

Как будто бы в недрах пустыни, средь мук без числа,

Рождается Не что, исчадьѣ великого зла...

И пролетел ураган. Все снова, как было доньше:
Ясно блестят небеса, и великая тишь над пустыней.
Сбитые в кучу, ничком, оглушенные, полные страха,
Мало по малу встают караваны, и славят Аллаха.

Снова лежат исполины, недвижна несчетная сила ;
Светел и ясен их вид, ибо с Богом их смерть примирила.
Места, где пала их рать, не найдут никогда человеки :
Буря холмы намела и тайну сокрыла навеки.
Изредка только наездник-Араб пред своим караваном
Доброго пустит коня в весь опор по равнинам песчаным;
Сросся с конем и летит, что птица, по шири безбрежной,
Мечет копьё в вышину и ловит рукою небрежной.
Чудится — молния мчится пред ним по песчаному полю,
Он, настигая, хватает, и вновь отпускает на волю...
Вот уж они на холме, далёко, чуть видимы глазу...
Вдруг — отпрянул скакун, словно бездну завидевши сразу, —
Дико взвился на дыбы, как в испуге вздымаются кони, —
Всадник нагнулся вперед — глядит из-под левой ладони —
Миг — и коня повернул — на лице его страх непонятный,
И, как из лука стрела, несется дорогой обратной.
Вот доскакал до своих и поведал им тайну равнины.
Внемлют, безмолвно дивясь, рассказу его бедуины,
Ждут, чтоб ответил старейший — в чалме, с бородой среброкудрой.
Долго молчит он — и молвит: «Валлах! Да святится Премудрый!
Видел ты дивных людей: их зовут Мертвецами Пустыни.
Древний, могучий народ, носители Божьей святыни,
Но непокорно-горды, как хребты аравийских ущелий —
Шли на вождя своего, и с Богом бороться хотели ;
И заточил их Господь, и обрек их на сон без исхода —
Грозный, великий урок и память для рода и рода...
Есть на земле их потомки : зовут их народом Писанья».
Молча внимают Арабы загадочной правде сказанья ;
Лица их полны смиренья пред Богом и Божиим чудом,
Дума в глазах, — и пошли к навьюченным тяжко верблюдам.
Долго сверкают, как снег, издалека их белые шали;
Грустно кивают верблюды, теряясь в мерцаниях дали,
Словно уносят с собой всю тоскливость легенд про былое...

Тихо. Пустыня застыла в своем одиноком покое...

СКАЗАНИЕ О ПОГРОМЕ

...Встань, и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то — о н и.
Пройди к развалинам, к зияющим проломам,
К стенам и очагам, разбитым словно громом:
Вскрывая черноту нагого кирпича,
Глубоко врылся лом крушительным тараном,
И те пробоины подобны черным ранам,
Которым нет целенья и врача.
Ступи — утонет шаг : ты в пух поставил ногу,
В осколки утвари, в отрепья, в клочья книг :
По крохам их копил воловий труд — и миг,
И все разрушено...

И выйдешь на дорогу —
Цветут акации и льют свой аромат,
И цвет их — словно пух, и пахнут словно кровью
И на зло в грудь твою войдет их сладкий чад,
Маня тебя к весне, и жизни, и здоровью ;
И греет солнышко, и, скорбь твою дразня,
Осколки битого стекла горят алмазом —
Все сразу Бог послал, все пировали разом :
И солнце, и весна, и красная резня !

Но дальше. Видишь двор ? В углу, за той клоакой,
Там двух убили, двух : жиды с его собакой.
На ту же кучу их свалил один топор,
И вместе в их крови свинья купала рыло.
Размоет завтра дождь вопивший к Богу сор,
И сгинет эта кровь, всосет ее простор
Великой пустоты бесследно и уныло —
И будет снова все попрежнему, как было...

Иди, взберись туда, под крыши, на чердак :
Предсмертным ужасом еще трепещет мрак,

И смотрят на тебя из дыр, из теней черных
Глаза, десятки глаз безмолвных и упорных.
Ты видишь? То они. Вперяя мертвый взгляд,
Теснятся в уголке, и жмутся, и молчат.
Сюда, где с воем их настигла стая волчья,
Они в последний раз прокрались — оглянуть
Всю муку бытия, нелепо-жалкий путь
К нелепо-дикому концу, — и жмутся молча,
И только взор корит и требует : За что ? —
И то молчанье снести лишь Бог великий в силах!..

И все мертво кругом, и только на стропилах
Живой паук : он был, когда свершалось то, —
Спроси, и проплывут перед тобой картины :
Набитый пухом их распоротой перины
Распоротый живот — и гвоздь в ноздре живой ;
С пробитым теменем повешенные люди ;
Зарезанная мать, и с ней, к остывшей груди
Прильнувший губками, ребенок ; -- и другой,
Другой, разорванный с последним криком «мама !» —
И вот он — он глядит, недвижно молча, прямо
В Мои глаза и ждет отчета от Меня...
И в муке скорчишься от повести паучьей,
Пронзит она твой мозг, и в душу, леденя,
Войдет навеки Смерть... И, сытый пыткой жгучей,
Задушишь рвущийся из горла дикий вой
И выйдешь — и земля все та же, — не другая,
И солнце, как всегда, хохочет, изрыгая
Свое ненужное сиянье над землей..

И загляни ты в погреб ледяной,
Где весь табун, во тьме сырого свода,
Позорил жен из твоего народа —
По семеро, по семеро с одной.
Над дочерью свершалось семь насилий,
И рядом мать хрипела под скотом :

Бесчестили пред тем, как их убили,
И в самый миг убийства... и потом.
И посмотри туда : за тою бочкой,
И здесь, и там, зарывшись в сору,
Смотрел отец на то, что было с дочкой,
И сын на мать, и братья на сестру,
И видели, выглядывая в щели,
Как корчились тела невест и жен,
И спорили враги, делясь, о теле,
Как делят хлеб, — и крикнуть не посмели,
И не сошли с ума, не поседели
И глаз себе не выкололи вон
И за себя молили Адоная !
И если вновь от пыток и стыда
Из этих жертв опомнится иная —
Уж перед ней вся жизнь ее земная
Осквернена глубоко навсегда ;
Но выползут мужья их понемногу —
И в храм пойдут вознестъ хваленья Богу
И, если есть меж ними ког а н и м,
Иной из них пойдет спросить раввина :
Достойно ли его святого чина,
Чтоб с ним жила т а к а я, — слышишь? с ним!
И все пойдет, как было...

И оттуда

Введу тебя в жилья свиной и псов :
Там прятались сыны твоих отцов,
Потомки тех, чей прадед был Иегуда,
Лев Маккавей, — средь мерзости свиной,
В грязи клоак с отбросами сидели,
Гнездились в каждой яме, в каждой щели —
По семеро, по семеро в одной...
Так честь Мою прославили превыше
Святых Небес народам и толпам :
Рассыпались, бежали, словно мыши,

Попрятались, подобные клопам,
И околели псами...

Сын Адама,

Не плачь, не плачь, не крой руками век,
Заскрежещи зубами, человек,

И сгинь от срама !

Но ты пойдешь и дальше. Загляни
В ямской сарай за городом у сада —
Войди туда. Ты в капище резни.
В угрюмой тьме коробится громада
Возов, колес, оглоблей там и тут —
И кажется зловещим стадом чуд :
То словно спят вампиры-великаны,
До устали пресыщены и пьяны
От оргий крови. Ссохся и прирос
Мозг отверделый к спицам тех колес,
Протянутых, как пальцы, что, напряжась,
Хотят душисть. Кровавое, в дыму,
Заходит солнце. Вслушайся во тьму
И в дрожь бездонной тайны : ужас, ужас
И ужас бесконечно и навек..
Он здесь разлит, прилип к стенам досчатым,
Он плавает в безмолвии чреватом —
И чудится во мгле из под телег
Дрожь судорог, обрубки тел живые,
Что корчатся в безмолвной агонии, —
И в воздухе висит последний стон —
Бессильный голос муки предконечной —
Вокруг тебя застыл и реет он,
И смутной скорбью — скорбью вековечной
Кругом дрожит и бродит тишина..
Здесь Некто есть. Здесь рыщет Некто черный —
Томится здесь, но не уйдет, упорный ;
Устал от горя, мощь истощена,
И ищет он покоя — нет покою ;

И хочет он рыдать — не стало чем,
И хочет взвыть он бешено — и нем,
Захлебываясь жгучею тоскою ;
И, осеня крылами дом резни,
Свое чело под крылья тихо прячет,
Скрывает скорбь очей своих, и плачет
Без языка
. И дверь, войдя, замкни,
И стань во тьме, и с горем тихо слейся,
Уйди в него, и досыта напейся
И на всю жизнь им душу наводни,
Чтоб, дальше — в дни, когда душе уныло
И гаснет мощь — чтоб это горе было
Твоей последней помощью в те дни,
Источником живительного яда, —
Чтоб за тобою злым кошмаром ада
Оно ползло, ползло, вселяя дрожь ;
И понесешь в края земного шара,
И будешь ты для этого кошмара
Искать имен, и слов, и не найдешь...

Иди на кладбище. Тайком туда пройди ты,
Никем не встреченный, один с твоей тоской ;
Пройди по всем буграм, где клочья тел зарыты,
И стань, и воцарю молчанье над тобой.
И сердце будет ныть от срама и страданий —
Но слез тебе не дам. И будет зреть в гортани
Звериный рев быка, влекомого к костру, —
Но я твой стон в груди твоей запрु...
Так вот они лежат, закланные ягнята.
Чем Я воздам за вас, и что Моя расплата?!
Я сам, как вы, бедняк, давно, с далеких дней —
Я беден был при вас, без вас еще бедней ;
За воздаянием придут в Мое жилище —
И распахну Я дверь: смотрите, Бог ваш — нищий!.

Сыны мои, сыны ! Чьи скажут нам уста,
За что, за что, за что над вами смерть нависла,
Зачем, во имя чье вы пали ? Смерть без смысла,
Как жизнь — как ваша жизнь без смысла прожита...
Где ж Мудрость вышняя, божественный Мой Разум ?
Зарылся в облаках от горя и стыда...

Я тоже по ночам невидимо сюда
Схожу, и вижу и х Моим всезрящим глазом,
Но — бытием Моим клянусь тебе Я сам —
Без слез. Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее — ответь, сын человечесий!
Иль лучше промолчи... Молчи! Без слов и речи
Им о стыде Моем свидетелем ты будь
И, возвратясь домой в твоё родное племя,
Снеси к ним Мой позор и им обрушь на темя.
И боль Мою возьми и влей им ядом в грудь!
И, уходя, еще на несколько мгновений
Помедли : вокруг тебя ковер травы весенней,
Росистый, искрится в сияньи и тепле.
Сорви ты горсть, и брось назад над головою.
И молви : Мой народ стал мертвою травой,
И нет ему надежды на земле.

И вновь пойдя к спасенным от убоя —
В дома, где молится постящийся народ.
Услышишь хор рыданий, стона, воя,
И весь замрешь, и дрожь тебя возьмет :
Так, как они, рыдает только племя,
Погибшее навеки — навсегда...
Уж не взойдет у них святое семя
Восстания, и мщенья, и стыда,
И даже злого, страстного проклятья
Не вырвется у них от боли ран...
О, лгут они, твои родные братья,
Ложь — их мольба, и слезы их — обман.
Вы бьете в грудь, и плачете, и громко

И жалобно кричите Мне: грешны...
Да разве есть у праха, у обломка,
У мусора, у падали вины ?
Мне срам за них, и мерзки эти слезы !
Да крикни им, чтоб грянули угрозы
Против Меня, и неба, и земли, —
Чтобы, в ответ за муки поколений,
Проклятия взвились к горней сени
И бурею престол Мой потрясли !
Я для того замкнул в твоей гортани,
О человек, стенание твое :
Не оскверни, как т е, водой рыданий
Святую боль святых твоих страданий,
Но сбереги нетронутой ее.
Лелей ее, храни дороже клада
И замок ей построй в твоей груди,
Построй оплот из ненависти ада —
И не давай ей пищи, кроме яда
Твоих обид и ран твоих, и жди.
И вырастет взлелеянное семя,
И жгучий даст и полный яду плод —
И в грозный день, когда свершится время,
Сорви его — и брось его в народ !

Уйди. Ты вечером вернись в их синагогу :
День скорби кончился — и клонит понемногу
Дремота. Молятся губами кое-как,
Без сердца, вялые, усталые от плача :
Так курится фитиль, когда елей иссяк,
Так тащится без ног заезженная кляча...
Отслужено, конец. Но скамьи прихожан
Не опустели : ждут. А, проповедь с амвона !
Ползет она, скрипит, бесцветно, монотонно,
И мажет притчами по гною свежих ран,
И не послышится в ней Божнего слова,
И в душах не родит ни проблеска живого.

И паства слушает, зевая стар и млад,
Качая головой под рокот слов унылых;
Печать конца на лбу, в пустынном сердце чад,
Сок вытек, дух увял, и Божий взор забыл их...

Нет, ты их не жалея. Ожгла их больно плеть —
Но с болью свыклись, и сжились с позором,
Чресчур несчастные, чтоб их громить укором,
Чресчур погибшие, чтоб их еще жалеть.
Оставь их, пусть идут — стемнело, небо в звездах.
Идут, понуры, спать — спать в оскверненных гнездах, —
Как воры, крадутся, и стан опять согбен,
И пустота в душе бездоннее, чем прежде;
И лягут на тряпье, на сброшенной одежде,
Со ржавчиной в костях, и в сердце гниль и тлен...

А завтра выйди к ним : осколки человека
Разбили лагери у входа к богачам,
И, как разносчик свой выкрикивает хлам,
Так голоса они : «Смотрите, я — калека !
Мне разрубили лоб ! Мне руку до кости !»
И жадно их глаза — глаза рабов побитых —
Устремлены туда, на руки этих сытых,
И молят : «Мать мою убили — заплати !»

Эй, голь, на кладбище ! Отруйте там обломки
Святых родных костей, набейте в плоть котомки
И потащите их на мировой базар
И ярко, на виду, расставьте свой товар :
Гнусавя нараспев мольбу о благостыне,
Молитесь, нищие, на ветер всех сторон
О милости царей, о жалости племен —
И гнийте, как поднесь, и кланьтесь, как поныне!..

• • • • •
• • • • •
• • • • •

Что в них тебе ? Оставь их, человеке,
Встань и беги в степную ширь, далече :
Там, наконец, рыданиям путь открой,
И бейся там о камни головой,
И рви себя, горя бессильным гневом,
За волосы, и плачь, и зверем вой —
И вьюга скроет вопль безумный твой
Своим насмешливым напевом...

1904

ЗАВОДЬ

I

Я знаю лес и в том лесу
Стыдливой Заводи красу
В оправе темнолистных куп.
Благословенный Солнцем Дуб,
Питомец бурь, над ней склонен.
И мир, обратно отражен,
Ей снится. Рыб искристый рой
Мелькнет по Заводи порой,
И Заводь удит их во сне.
Но что в заветной глубине
Она таит, — не разгадать.
Когда с востока благодать
На землю хлынет и заря
Дубравного богатыря
Омоет космы, и — Самсон
Под ласкою Далилы — он
Смеется в розовой сети,
И шепчет Солнцу Дуб : «Святи
Меня огнем ! Мне вожделен
Золотоструйной неги плен!» —
В тот час, — скользнет ли луч по ней
Иль нет, — но Заводь у корней
Замрет, застынет, как стекло,
Чтоб, наклонив над ней чело,
Родимый видел великан,
Какою славой осиян ;
И сладко грезить ей, что он
Ее любовьию вспоен.

Настанет ночь, взойдет луна, —
 И, тайною отягчена,
 Дубрава спит. В листве, как тать,
 Серебряные чары ткать —
 Крадется луч. Но из деревьев
 Простерло каждое навес.
 Ревнивой тенью облача
 От соглядатая-луча
 Глубоких недр покой и тьму,
 Где, погруженная в дрему,
 На ложе золотом, — юней
 Весенних роз и роз нежней, —
 Лежит царица древних дней...
 Над ней хранительно витать,
 Дыханья уст ее считать
 Повелено душе лесной
 В той хранилище заповедной,
 Куда, в свой час, войдет один
 К своей невесте царский сын...
 В тот час, — прозыблется иль нет
 По Заводи зеркальной свет, —
 Уйдет под сень опекуна
 Многоветвистого она
 И ляжет омутом ночным,
 Нема безмолвием двойным,
 И тайна в ней, и тишина
 Волшебного лесного сна
 Как-бы вдвойне углублена.
 И ей сквозь темную дрему,
 Быть может, вспомнится: к чему
 В песках сухих, в лесах глухих
 Найти невесту мнит жених?...
 Желанный клад, он — гут, на дне,
 В ее безвестной глубине...

Когда, всклубясь зловещей мглой,
Налягут тучи слой на слой,
Но кроют, глухо рокоча,
В дрожащих недрах гнев луча,
И редко-редко меж собой
Перемигнутся : «будет бой !» —
Еще не ведая, где враг,
Лес ждет... И вдруг — огней зигзаг
Мигнул... С расколотых небес
Просыпан гром... Вскипает лес...
Не шестьдесят ли мириад
Свистящих вихрей выслая ад,
Безликих бесов, бездны чад ?
Вцепился в длинные волосы
И рвет зеленые красы
Сонм исступленных дикарей
И по главам богатырей
Косматых хлещет. Гром гремит,
И тяжким шумом лес шумит,
Как-будто бурей возмущен
Пучин тяжеловодных сон,
И, сотрясенная до дна,
Гудит и стонет глубина,
Гнев неба, ветра вой глуша...
Тем часом Заводи душа
Уходит в омуты свои,
Где, сумеречные струи
Расплавом беглым золотя,
Мерцают рыбки... Как дитя,
Укрыто матерним крылом,
Беспечно внемлет горний гром, —
Вдруг новой молнии излом
Его пугает и слепит,
Но мать над ним, — младенец спит:

Так в диком трепете огней
И Заводь дремлет у корней
Родного стражника ; глаза
На миг откроет : все гроза ! —
И мелкой дрожью задрожит,
И вежды сонные смежит...
Но и сошед в глухой затвор,
Стихийный слухом ловит спор, —
За леса царственный убор,
За ткань живую трепеща
Его измятого плаща,
За чаровательный чертог,
Чей святотатственно порог, —
Смутив обитель чистых нег, —
Попрал ненстовый набег...

IV

За бурей день встает светло ;
Но леса хмурое чело
Хранит уныния печать,
И любо смутному молчать
Под лаской тихой росных чар.
Меж тем в лугах молочный пар
Разливом стелется седым
И воскуряется, как дым,
И льнут к листве его клочки ;
И лижут ветра язычки,
Успокоительно-теплы,
С листвы дремучей млеко мглы,
И шарят в лиственном венце,
И зыблют перья на птенце.
Так нежен трепет легких струй,
Как уст младенца поцелуй,
Когда пушок родимых щек
Шскочет мягкий язычок...

А над ветром дубравных глав
Остановился облак слав :
Златой синклит престольных сил
В пути воздушном опочил ;
И старцев багрянит заря,
Несущих свитки, гнев Царя,
Дорогой дальней, из одной
Округи мира в мир иной.
И лес им в страхе предстоит,
Дыханье слитное таит —
И веток освеженных рост,
И шорохи оживших гнезд...
В тот час над влагою легка
Фата туманная ; гладка
Парная Заводь... Снится ей :
Мимойдет собор князей,
Взыскующих земли святой
За поднебесною чертой.
Почто плывут к чужим брегам?
Мир вожделенный — здесь, не там !
Запечатленный — тут, в глуши,
В ее струящейся тиши,
В молчаньи девственной души...

V

О, мир блаженный, тайный свет
Моих невозвратимых лет,
Когда над отрока челом
Шехина дрогнула крылом !
В те дни — как мир дивил меня !
Как сладко, грудь мою тесня,
Вскипали слезы ! Как сжигал
Ее восторг!.. Я убегал
Живой дубравы в глушь и тьму —
Молиться Богу моему.

Тропой звериной, в летний зной,
По засеке заповедной
Бреду, бывало... Ропщет бор,
Где не стучал еще топор...
Веду с Незримым разговор...
Людского нет окрест следа;
Мне стелет солнце невода,
Но колыханием завес
Манит — в шатер Господень — лес.
Так, скинии взыскуя, раз
Лазоревый в чашобе глаз
Я встретил : Заводь то была.
Над гладью влажного стекла
Всплывал зеленый островок,
Как стол алтарный — одинок,
Шелковой устлан муравой,
Благословляющей листвой
Отцов лесных со всех сторон
Хранительно приосенен.
Над малой храминой — небес
Округлый свод в венце древес ;
А пол у храмины — стекло.
И в своде, и на дне — светло
Горят, единый блеск деля,
Два огнезарных хрусталя.
Главою преклонясь к стволу,
Очами к зыбкому стеклу
Прильнув, часы я проводил,
Дивясь загадке двух светил
И двух миров, — и что первой :
Виденье неба иль зыбей ?..
И старцы леса мне с ветвей
Кропили в грудь зеленой мглой,
И смутным пеньем, и смолой.
И наполнялась по края
Обильем сладким грудь моя,

И чуткий напрягался слух,
И ждал Шешины близкой дух...
И средь пустынной немоты,
Чу, — ясный голос: «Где же ты?..»
И удивленную листвою
Взгудели, смутной головой
Кивают мне древа, поют :
«Кто ты, вошедший в сей приют?..»

VI

Есть Божий, внятный нам язык —
Язык молчанья. Всякий лик
Земной и горней красоты
В нем есть, и все цветут цветы ;
Но соткан он из эхо снов,
И нет ни звука в нем, ни слов.
На нем миры творящий Дух
Непостижимо грезит вслух ;
И в нем, поэт, своей мечты
Истолкованье ловишь ты.
Глашатай знамений святых,
Он вечно развивает, тих,
Свой свиток огненных словес,
Являя духу свет небес
И снег вершин, и сумрак недр,
И злато нив, и мощный кедр,
Лет горлиц белых и орла,
И стройные людей тела,
И тайну ясную очей,
И по волнам игру лучей,
И ярость бешеных стихий,
Когда огня всклубится змий
Иль хляби вод идут на брег,
И звездочки падучей бег,
И солнца низкого пожар,

И вещей мед закатных чар...
И Заводь тихая, во сне
Свою загадку пела мне
На том же языке живом..
И в непробудный водоем
Глядел я подолгу, — и вот,
Передо мной — не заводь вод,
А глаз лазоревый... Открыт,
Он в небо небом недр глядит,
Неизреченных полон дум,
Как леса непробудный шум...

1905

СВИТОК О ПЛАМЕНИ

I

Всю ночь оно пылало, воздымая
ввысь над горою храма языки
огня. С высот опаленного неба
брызгали звезды ливнем искрометным
на землю. Или Господь Свой трон небесный
и Свой венеч в дребезги раздробил ?

Обрывки красных туч, перегруженных
кровью с огнем, скитались в просторах
ночи, неся по далеким горам
скорбную весть о гневе Бога мщений
и о Его ярости возглашая
скалам пустынь. Не Свою ли порфиру
разодрал Адонай, и по ветрам
клочья развеял ?

И великий ужас
был на дальних горах, и дрожь объяла
хмурые скалы пустынь : Бог отмщений
Иегова, Бог отмщений воссиял!
И вот Он, Бог отмщений, в дивной славе
Своей, покойный, грозный, восседит
на пылающем троне, в сердце моря
пламени, облачен в пурпур огня,
и угли раскаленные — подножье
стопам Его. Кругом в безумной скачке,
в бешеной пляске вьются языки.
Над головой Его шипит пожар
и со свистом засасывает, жадный,
пространства мира. Спокоен и грозен
сидит Он, мышцы Его скрещены,
и от взоров очей ширится пламя,

и выше воздымаются костры
от мания ресницы.

Пойте Богу
песнь пламени, о буйный хоровод
огневого радения !

II

Когда
засверкала заря на горных высях
и по долинам лег белесый пар,
тогда смирилося море пыланий,
и земля поглотила языки
от обожженной Божией святыни
на горе храма.

И ангелы свиты,
согласно чину священного хора,
собрались на заутреннюю песнь
и распахнули окна небосвода
и показали головы наружу
над горой храма : отперты ли входы
святыни, и клубится ли над нею
дым курений ?

И видят: Саваоф,
Ветхий деньми, над горами развалин
восседающий в сумерках зари,
в черный дым облачен, и прах и пепел
Его подножье. Голова поникла
на скрещенные мышцы, и над нею
скорбь нависла горою. Молчалив
и угрюм, озирает Он обломки
разгрома ; гнев и ужас всех веков

и миров омрачил Его ресницы,
и во взоре великое застыло
безмолвие.

Гора еще дымится.
Кучи пепла и тлеющей золы,
дымные головни, скирды багровых
углей, нагроможденные, сверкают
словно россыпи камней самоцветных
в молчании зари.

Но Ариэль,
Огненный Лев, издревле возлежавший
днем и ночью на жертвеннике Бога, —
Ариэля не стало. Только прядь
его гривы, последняя сиротка,
мерцает, и дрожит, и умирает
на обгорелых обломках, в молчаньи
зари.

И поняли ангелы свиты,
что сделал им Господь. И содрогнулись,
и с ними все предутренние звезды
затрепетали ; и ангелы лица
окутали крылами, чтоб не видеть
скорби Господней.

И гимны заре
сменились безмолвной песнью горя,
беззвучно-внятной жалобой. И молча
отвернулись и плакали они,
каждый ангел один с своей душою,
и весь мир с ними плакал в тишине.

И некий вздох, беззвучный, но глубокий,
со dna земли поднялся и разнесся

и разбился в безмолвии рыданья.
То разбилось, разбилось сердце мира,
и не в мочь стало Господу крепиться,
и очнулся Господь, и львиным ревом
возревел, и всплеснул руками в боли ---
и поднялась Шехина с пепелища,
и сокрылась в загадочности Тайн...

III

А над горою храма, в вышине,
стыдливая, печальная, блистала
Серна Зари, с лазурного шатра
озирая развалины, и тихо
ресницы, серебристые ресницы
трепетали.

И юный ангел Божий,
светлокрылый, с печальными глазами,
обитавший в лучах Серны Зари
на страже Затаенных Слез-жемчужин
в чаше Безмолвной Скорби, — увидал
ту прядь огня из гривы Ариэля,
что мерцала, дрожала, умирала
среди обожженных каменных обломков
на горе храма.

И дрогнуло сердце
ангела, жалостно и больно стало
его душе, да не умрет последний
уголек Божества, — и на земле
не останется пламени святого,
и дивный светоч Божьего народа
И Божнего дома догорит
навсегда.

И понесся, покидая
Серну Зари, с кадилъницей в руке,
и опустился на горе развалин,
и приступил трепетно к алтарю,
и выгреб из святого пепелища
Божье пламя ; и крылья распростер,
и умчался. Одна только слезинка,
зашипев, утонула в жгучем пепле, —
и то была единственная капля,
что пролил ангел дотолѣ из чаши
Безмолвной Скорби, — слеза умиленья
и отрады о чуде, о спасенном
уцелевшем Огне.

И ангел несся
меж легких тучек, и пламя святыни
в его деснице. Тесно, тесно к сердцу
прижимал он добычу и устами
ее касался. Радостно мигала
ему Серна Зари, и сердце билось
родником утешенья и надежды.

И унес он ее на голый остров,
и опустил на клык крутой скалы ;
и поднял к небу печальные очи,
и шепнули уста беззвучно :

— Боже

милосердый, спасающий, вели,
да не угаснет последнее пламя
Твое вовеки !

И призрел на душу
светлокрылого ангела Господь,
и дал пламени жизнь ; и поручил
его Серне Зари, и повелел :

— Бодрствуй, о дочь моя, над этой искрой,
да не погаснет, ибо как зеница
ска тебе она ; стой и блюди,
что с нею будет.

И стала в лазури
Серна Зари над Божьим огоньком,
и с любовью безмолвной и далекой
и стыдливою негою мигала
ему с высот, и встречала поутру
сняющим приветом, и тянулась
к нему лучом утешенья и ласки.

А юный ангел с грустными глазами
отлетел и вернулся вновь на место
свое, на стражу Затаенных Слез
в чаше Безмолвной Скорби ; только глубже
и печальней глаза его, чем были,
и на устах и на сердце ожоги,
которым не зажить ; ибо коснулся
до сердца и до уст огонь святыни,
и нет им исцеленья.

IV

В это время
захватил покоритель и увез
на кораблях в далекий плен по двести
от юношей и девушек Сиона.
Чистые дети чистых матерей,
молодые газели с гор Иуды, —
еще росами юности их кудри
окроплены, и блеск небес Сиона
в очах. Отец их — Олень Израиль,
и мать — вольная Серна Галилеи.

И мало то казалось врагу,
что поругал и осквернил навеки
свежую песнь их жизни ; но задумал
истомить их тоской, и долгой смертью
от голода и жажды. Обнажил
и высадил на тот пустынный остров —
юношей здесь, на одном берегу,
девушек там, на берегу противном,
и покинул.

И думал нечестивый :
«Разрозню их — и муку их удвою.
Да блуждают на острове пустынном,
братья сестрам чужие, и не встретят
и не увидят вовеки друг друга,
и высохнет душа, завянет сердце
и свет очей потухнет. И когда
лишь один шаг останется меж ними
и протянутся руки их навстречу
рукам, — то вдруг исказятся их лица
и подкосятся колени, и рухнут,
и умрут смертью судорог и муки
на железной земле, под медным небом.
без утехи и радости».

Три дня
по острову пустынному блуждали
юноши без питания и воды,
без слов и стога. Вонжены их очи
в жаркий песок, и голова поникла
под раскаленным солнцем. Острия
пылающих утесов осыпают
их стрелами огня, и скорпионы
в расселинах, колючие, смеются
их тяжелой скорби.

Ибо проклял Бог
отвека этот остров, плешью проклял
и чахлостью : терновник и гранит,
ни травинки нигде, ни пяди тени,
шорох жизни застыл, знойная тишь,
опаленная пустошь. Утомились
наготовю глаза их, замирало
сердце в груди, истаяла душа.
Их дыханье — как огненные нити,
и мнится, будто самый звук шагов
умирает без отклика, — и тень,
упадая, сгорает. И уснул,
и смолк источник жизни, в темный угол
забилася душа, и нет отрады,
опустилась рука, закрылись очи,
и бредут, — и не знают, что бредут.

Но внезапно — когда уже померкло
и онемело все в них — из унылой
тишины зазвучала чья то поступь,
уверенная, мерная, как эхо
твердого сердца ; и никто не ведал,
чей и откуда шаг; ибо со дна
своих сердец слышали тот звук
и в их среде звучал он. И познали,
что был некто Загадочный меж них,
и сердце всех — в его великом сердце.
И влеклися за поступью чудесной,
попрежнему с закрытыми глазами,
ущепившись душою за стопы
Незримого.

И было, если кто
приоткрывал с усилием ресницы,
отличали глаза его невольно
двух юношей, ростом и мощью равных,

головой выше спутников ; и оба загадочны, и широко раскрыты очи у них обоих ; но один кроток и светлоок, и смотрит в небо, словно там ищет звезду своей жизни, — другой мрачен и грозен, его брови насуплены, глаза устремлены к земле, словно пытаются у нее о великой утрате. И не можно отгадать, кто Загадочный водитель меж этими двумя.

V

На третью ночь — ночь, полную лазури и созвездий, — они пришли к реке, широкой, черной, как смола, и воскликнули : вода ! И налетели хищно, и глотали, и легли отдыхать на берегу.

И закричали двое: — Мы нашли лебеду ! — И накинудися жадно все на ту лебеду, и жадно ели, и снова полегли на берегу.

И неведомо было им, что пили из реки Аваддон, чье имя Гибель, и вкусили от корня Сатаны. Лишь один светлоокий не коснулся ни до чего. Опершись одиноко о прибрежный утес, он стал поодаль, и глаза его рыли бездну ночи, и напряженное ухо внимало песне души.

Тогда поднялся вдруг
тот Грозный, мрачный, с гневными бровями,
и приблизился к ним, и спросил :

— Братья, не позабыта ль вами песнь
о Ненависти, песнь Уничтоженья?

И промолчали юноши, ни слова
не сказали в ответ, ибо стыдились —
ибо вовек не знавали той песни.
Только один, золотисто-кудрявый,
еще дитя, выпятил важно грудь
и вскричал, лицемеря :

— Разве мог
юный лев позабыть свое рыканье,
разве...

Стрела сверкнула из очей
Грозного и спалила на устах
ребячью ложь. И в мрачном гневном молвил
Загадочный :

— Стал юный лев шакалом,
псом пустыни...

И потупился отрок,
зарделся и уставился глазами
в большой палец ноги, вертя в руках
осколок голыша. Добрая ночь
его сокрыла, и никто не видел
его стыда.

А Загадочный сел
на берегу, и в черных глубинах
его жгучие взоры утонули
и заблудились. Юноши, притихнув,

затаили дыханье, ибо ужас
пал великий на них, и сердце ныло
от невнятного трепета. И слухом
прильнули к тишине : палимый жаждой,
так приникает скиталец в пустыне
ухом к немой скале — и будто внемлет
из гранита запечатленный лепет
подземного ключа...

И зазвучала
в этот миг песнь Загадочного, тихо,
словно прозрачный голос самого
безмолвия. Своей душе он пел,
про себя, еле внятно ; и бесстрашна,
таинственна, темна, как сама ночь,
доносилась песнь, и леденело
от спокойного холода ее
в груди ; и не понять было, откуда —
из темной ли норы в его душе
тихо выползла песнь черной ехидной
и потянулась к воде, — или он
ее глазами выманил из бездны
речной, и песнь тихо ползла оттуда
к его душе...

И так пел человек :

«Черные, дремлют бездны реки Аваддона,
Загадку смерти гадая...
Вопли миров сокрыты во тьме ее лона
И великая боль мировая...

Где же Заря Искупленья ? — Она, как блудница,
Играет и с нами, и с Богом —
В тимпаны, веселая, бьет и в пляске резвится
Где то по горным отрогам...» —

Тихо слушали юноши. Глаза их
приковала река. Глубь Аваддона
им ужасное некое шептала,
и золотистые звезды дразнили
из черноты пучины. А кудрявый
застыдившийся отрок поднял гальку
на берегу рассеянной рукою
и швырнул в воду — и нутро реки
шарахнулось, забегали морщины
по искаженной поверхности, звезды
удлинились в змейки золотые
и зигзагами трепетно и резво
рассыпались везде... И колыхнулось,
как река, сердце юношей, и дрожь
по членам проскользнула — и не знали
отчего. Черным пламенем сверкнули
очи Грозного — пламя Сатаны —
и голос стал другим, и вдруг окреп,
разрастаясь и трепетный, и гневный ;

«Из бездн Аваддона взнесите песнь о Разгроме,
Что, как дух ваш, черна от пожара,
И рассыпьте в народах, и все в проклятом их доме
Отравите удушьем угара;

И каждый да сеет по нивам их семя распада,
Повсюду, где ступит и станет.
Если тенью коснетесь чистейшей из лилий их сада —
Почернеет она и завянет ;

И если ваш взор упадет на мрамор их статуй —
Треснут, разбиты на-двое ;
И смех захватите с собою, горький, проклятый,
Чтоб умерщвлять все живое — — —>

И тогда Светлоокий, что стоял
одинок поодаль, опираясь
о прибрежный утес, и в темном небе
следил свою звезду, — тихо ступил
ближе к юношам, глаз не отрывая
от неба, и спросил :

— Братья мои,
а знакома ли вам песнь Утешенья,
песнь Искупленья и Конца ?

Но те
не слышали, не двинулись и взоров
не отвели от реки, ибо душу
поглотила песнь Грозного. Сидели
недвижные, немые, и казались
черным рядом надгробных изваяний
на собственном кладбище. — Только снова
тот самый отрок в золотых кудрях
важно выпятил грудь и, лицемера,
отвечал :

— Разве горная газель
могла забыть свой голос...

И не кончил,
смутясь, ибо покоились на нем
два ясных глаза ; и вложил смущенно
кончик мизинца в рот, словно ребенок,
что солгал и попался, и усмешка
пристыженно играла в ямках щек.
И улыбнулся ему Светлоокий
улыбкою прощения ; но скорбно
стало его душе ; и отошел
снова к утесу, и взором унесся
в небо.

А песнь Загадочного крепла,
нарастала, как буря, как звериный
рев, увлекаемая буйными волнами
юношей ; и зарычали они,
словно львята, и вместе с мощью клича
в них нарастала ненависть сильнее
смерти, пронизывая, опьяняя,
искажая лицо и зажигая
черное пламя в глазах. И качнулась
тогда река сплошной черной громадой
от берега до берега в едином
колыханьи, как будто бы дитя
в колыбели, и вместе зашаталась,
зазмеилась, забегали в пучине
рыбками золотыми искры звезд :

«Ибо то — Песнь Гнева, что в ночь Божией мести
Родилась, воспринята кострами,
Из крови отцов и детей, и из девственной чести,
Растоптанной в муках и сраме...»

Но в этот миг вскочил кудрявый отрок
и показал рукой на крутизну
по ту сторону волн, и закричал :
— Смотрите!..

Юноши подняли взоры,
и упало в них сердце : там, напротив,
с высоты, что над кручею обрыва,
словно ангелы, легкие, касаясь
едва земли, нисходят ровным рядом
белотелые девы. Стройной нитью,
нога к ноге, идут они, и руки
подняты, словно тянутся к лучам
месяца, и, как очи одержимых
лунным недугом, закрыты глаза ;

на челе их, — терновые венцы,
и муки мессианские застыли
в чертах лица ; в тени ресниц их дремлет
изначальная вера, и улыбка
на губах опочила.

И узнали

их юноши, и замерло в них сердце:
ибо девы, с закрытыми глазами,
близилась к темной круче над рекою,
и чрез мгновенье останется шаг
между ними и пропастью. Вскочили
юноши, закричали, замахали
руками — но, не внемля и не видя,
не открывая глаз, легкие, ровным
рядом, нога к ноге, двигались девы
своим путем. И вот — последний шаг.
Длинная, ровная нить из алмазов
мгновенно распахнувшихся очей
на один миг сверкнула и погасла —
и вереницею апостов белых
понеслись они в черную пучину.

С воплем ужаса юноши вскочили
и ринулись с обрыва. Словно гривы,
стали дыбом их кудри на лету —
и уж роют руками чрево бездны,
и, вынырнув, плывут наперерез
пучины. Вот уж головы покрыла
тяжкая тень крутизны, что на том
берегу... Полдороги... И завывала,
вздыбилась, обезумела река ;
черный, огромный вырос вал из чрева
бездны, и бросил отважных назад,
и ринулись опять они на приступ
его гребня. И мощный вал застыл,

притаился, навис сплошной стеною —
и в нутре его злая назревала
мысль. Юноши боролись и взбирались
выше и выше — вот уже они
на гребне вала, ясно из-за гребня
слышны девичьи вопли — но раздалась
в это мгновенье под ними громада,
и в ней разверзся, подобный ущелью
смерти, черный провал — и понеслись
юноши в ту зияющую глубь
и там, на дне, столкнулись головами
о головы подруг...

Тяжкая тишь,
спокойствие насыщенного зверя
опустилось над пропастью. Замкнулось
над смелыми ущелье, и по темной
глади реки неслышно поползло
что то тяжелое, черное, большое
и поплыло за трупами вдогонку,
словно черная лодка — или гроб...

А светлоокий юноша стоял,
невредимый, у выступа утеса,
один, один ; и закрыл он руками
лицо свое, и, рухнув, зарыдал,
зарыдал, зарыдал...

VI

Но когда встал он
и обычно вознес очи горе,
то увидал — там, над высями кручи
напротив, непорочная, как ангел
чистоты, белотелая, печально-
окая, одинокая, стояла

девушка и смотрела прямо в очи
ему, и над ее головкой в небе
сияла Серна Зари...

И забилося
его сердце. Впервые за всю жизнь
опустил он глаза — и погрузился
в черную воду взор, и там почил
на отраженьи девушки в пучине
с предрассветной звездой над челом :
то впервые за всю страшную ночь
он заглянул в пропасти Аваддона.
И вдруг снова поник он на колени
пред отраженным образом, прикован
глазами к бездне чрез муку любви,
и его губы, томясь и тоскуя,
шепнули:

— Ты ль это, сестра ?...

И смолк
и не продолжил, ибо одолело
бушевание сердца, и душа
задышалась своею полнотою...
Но овладел собою через миг, и
открыл глаза широко — и они
стали глубже, и греза в них бродила,
и, больная, ужалена любовью,
кровоточа, в глубине трепетала
душа ; и вновь закрылся взор от боли
великого бесхитростного сердца,
и странным звуком, робким и печальным,
словно ропот таинственно-незримый
родника под травой на закате,
хлынула из груди его молитва.

ИСПОВЕДЬ

«Ты ли это, единственная, ты ли,
огонек моего пути, святая
души моей от первого дыханья
появись, ты ли с вершины холмов
на безжизненном острове предстала
мне под крылами Зари, под венцом
ее звезды?»

«Из глубины моей
жизни к тебе мириадами воплей
о помощи давно, вечно взывала
моя душа, и неслась от тебя
и к тебе тысячами потаенных
и извилистых тропок. На заре
детской поры увидел я впервые
твое сиянье, и в тайне ночей
и зорь мне полюбился твой сокрытый
блеск. Между гор Самарийских, среди гроздий
виноградных садов, — там родила
меня мать моя, там под переплетом
лоз и пальм колыбель моя качалась,
и песней няни был для меня голос
божьей пташки. Высоко колосились
золотые поля, благословляя
мое детство, леса прохладных кедров
и кипарисов вводили меня
под сень тайны своей, и полюбил я
бога земли, бога долин и гор,
а Бога неба страшился. Но часто
пред зарей, пред зарей, едва с вершины
гор в мировой тишине раздавался
первый рог пастуха, и страх святой,
непонятный и сладостный, окутывал
меня, я пробирался, крадучись,

к выходу шалаша, и подымался
на холодный пригорок ; мои ноги
купались в росе утра, и глаза
уносились к лазоревому небу,
и созерцали там дивную славу
твою в луче предутренней звезды,
и в ее мягком сиянии твою
божественность ; и с высоты лазурной
в молчаливой любви ты мне мерцала,
и мое сердце трепетало с трепетом
твоих ресниц, и я тогда любил
даже небо и все, что в небе скрыто, —
ради тебя...»

И дальше говорил,
затопленный любовью :

«И остался
я сир и одинок. Отец погиб
смертью зилота в битве — и его
кости покрыты бесславием ; мать
осквернилась душою за пригоршню
ячменя на чужбине ; и остался
я один, и скитался, бесприютный,
целые дни по горам, и в ночи
засыпал, обнимая твердый камень.
И лисицы кругом меня шныряли
во мраке, и сова меня пугала,
плача где то в развалинах ; и был я
одинокий, мечтательный ребенок,
с одним богатством — с душою, пугливой
как пташка, и с глазами, что смотрели
и дивились. И мне являлась ты,
задумчивая, светлая, в тумане
ночи, на голой скале моего
ночлега, перед каменным моим

изголовьем, — а утром сторожила
меня с нагорных высот, и дарила
добрым лучом, и с матерински-нежной
грустью ласкался ко мне золотой
взор твой. И обучила мое сердце
тайному горю, и безмолвной боли,
и страданиям любви. Я ждал тебя
дни на пролет, словно страж на дозорном
холме, и по ночам к тебе тянулся,
как отлученный от груди ребенок
к матери...

«Так заброшенным в горах,
меня нашел однажды странный старец
из Иудеи, седой и косматый,
в плаще, мрачный и гневный, — назорей
и подвижник пред Богом ; величав
и грозен был он, как тяжкая туча,
или снежные горы пред рассветом
утра. И, сжалясь, приютил ребенка
под таинственной кровлей своего
шатра, и заслонил от мира тенью
своей дрожащей белой бороды.
И обучил меня своим дорогам,
и своему Богу поработил,
дал душу без желаний, и глаза,
устремленные в высь. И оборвал он
лепестки моей юности, один
за другим, и принес своему Богу
в жертву, и лучшие грезы мои
посвятил небесам ; и дни мои,
подобно дням его, стали постами,
ночи мои молитвами, как ночи
старика. Был он страшен мне, как осень
страшна цветку. Исхудало лицо,
и чело мое с каждым днем бледнело —

только кудри все гуще, все пышнее
вились, да в сердце дико разрослась
свежая чаща грез ; и я, малютка,
теряясь в ее сумраке, подобный
загнанной юной лани. И, бывало,
тот дикий лес в моем сердце внезапно
претворялся в волшебный сад цветов,
сладких плодов, солнечного сиянья, —
и ты, Божия дочь, заткана светом
и блеском, тихо шла меж благовонных
гряд, улыбаясь улыбкой, дарующей
жизнь, и, как будто влюбленная горлинка,
трепетал я, воркуя, на твоём
белом плече...

«Я был тогда нетронут
и стыдлив, и душа была чиста,
словно капля росы в горлышке лилии,
сердце ясно, как влага Силоама
в хрустальной чаше. Ни разу дотеле
пыль женщины не пала на мои
одежды, и неведом для меня
был ее аромат; но в моем сердце
журчала жизнь тысячью родников,
и молилась душа моя о шуме
любви, о дивном рокоте любви.
И расцветал из грез моих твой образ,
и вставал предо мною сочетаньем
дочери Бога с женщиной, и сам
я не ведал, когда и как соткалось
оно в моей душе. И мне казалось
иногда, что внедрил тебя Господь
искони и отвеча в моем сердце,
и в оны дни, на одной из далеких
звезд, или в грезе древности, прошел я
мимо тебя, и ты меня окликнула

по имени. Твой аромат я чуял
и в загадках моей далекой детской
поры, и эхо гвое доносилось
из немых ее снов. Днем мои взоры
подымались к небу, но рука,
словно слепая, ощупью искала
тени твоей вокруг ; и сквозь тревожный
сон по ночам доставало мне
на бедном ложе тебя. И, бывало,
ночью вставал старик будить зарю
и молился в окно, лицом к востоку,
и пел, вторя предутренним звездам,
песнь Богу жизни своей, — а в углу
я на ложе сгорал, корчился в муке
затаенных желаний, и душа
испуганно дрожала, как молочный
ягненок в пасти голодного зверя, —
и плакал, и терзал зубами губы,
что в трепете желания шептали
греховные мольбы Богу м о е й
жизни. И странно мне врывалась в душу
старцева песнь, словно чистый родник
в мутное море. Гадким и презренным
сам себе я казался, и томился,
и во мраке души моей шептал
обеты...

«Раз я вышел пред зарею
освятить себя Господу в реке
с общиной Братьев Рассветной Купели.
С гор полнотою свежести святой
веял навстречу мне ветерок утра,
и чудилось — во сретенье иду я
большой и дивной Тайны. Ткани тела
переполнены мощью, сердце ново
и крепко — и душа моя, ликуя,

не помнила себя. И вдруг — звенящий
всплеск воды пронизал меня хрустальной
струей, и был он уху моему,
как рокот арф. И я взглянул и замер :
вниз по реке передо мной купалась
девушка. Белизна нежного тела
из полутьмы озарила меня
и опьянила... Миг — и я б одним
прыжком ринулся к ней — но передо мною
встала старцева тень. И задушил я
свой порыв, и залег в дупле утеса,
и насыщал голодные глаза
белою наготой, и трепетало
мое сердце от трепета ее
девственных персей. И восскрежетал
я зубами, и поднял, угрожая,
свой кулак — и не знал, против кого —
против небес ли, меня испытующих,
или против Дявола, что так
искушал мою душу. И как молот
обрушился кулак мой на скалу,
и брызнули осколки, и нога
растоптала, как пыль, гранитный щебень.

«Но опьянение прошло, и глубокий
ужас объял меня, великий ужас
перед собою; ибо заглянул я
в черный хаос, где адова качель
между светом и тьмой меня швыряла:
и увидел свою душу — и вот,
она черна и бела; и увидел
сердце свое — и в нем нора ехидны
и вместе с ней орлиное гнездо...
Так сидел я, томясь, на берегу
той реки; голова моя поникла
под ношей тьмы, взоры глядели в воду,

и, казалось, сижу я на распутьи
между гробой проклятья и тропой
благословенья. И вдруг увидал
кудри свои в воде: они обросли
дико и тяжело, висели, бросая
темную тень, подобно покрывалу
из черных змей — и словно измышляли
против души моей козни со дна
потока. И вскочил я — и поклялся
принести свои кудри в жертву небу --
и свершилось, и опустилась чаша
весов...

«И я вступил в Иерусалим
и увидел чертог святыни, прелесть
отроков и жрецов его, толпу,
что по дворам его шумно сновала, —
и захватило дух мой. И острог я
свой венец назорейский там над кровью
жертвы моей, и бросил кольца прядей
в пасть Огненного Льва — и в тот же миг
мои кудри взвились в пламени жертвы
к небу, и роскошь юности моей
стала пеплом, угодным благовоением
для Господа... Какая-то волна,
как дым костра, как ненависть черна,
хлынула из души моей сожженной,
и в глазах потемнело, и хотелось
зареветь по звериному — но в этот
миг затопил хор левитов меня
морем звуков, и грохот труб и лепет
лир заглушил последний вопль моей
юности; сердце мое потерялось
в шуме тимпанов, кимвалов, и пал я,
обессилен, пред старшим из жрецов
в одежде льна, и в краях его ризы,

меж бубенцов и гранатовых яблок,
скрыл лицо, исповедался и плакал...

«А удаляясь — увидел я в груди
пепла, у края жертвенника, прядь
моих кудрей, одну, что уцелела
от огня. И похитил я у Бога
ту Богу обетованную прядь,
утаил на груди и убежал,
и была она долго талисманом
и печатью на сердце у меня.
Когда же вновь отросли мои кудри,
я вынул эту прядь, поцеловал
и по-ветру развеял, возвращая
украденное Небу...

«И смотри —
Небо меня обмануло, опутало
жестокой ложью. Молодость мою
и все взяло себе, и ничего
не дало мне взамен. Как раб покорный,
все дни мои возносил я к Нему
глаза и, словно пес, молча молил
о своей доле; но высокомерно
отвечало безмолвием Оно,
и лживым благочестьем истомило
юность мою; и остался я вновь
один в земле пустынной, и уходит
моя весна, ограбленная Небом,
повернулась и хочет уходить,
мрачная, гневная, без поцелуя
и прощанья; и я за ней бегу,
цепляясь, как ребенок, и целую
ноги ее, и хватаю за край
одеянья, и трепещу, и плачу:
«Не покидай!» — И ты мне вдруг явилась,

сила моя, царица, в полноте
славы твоей сошла ко мне на землю,
жезл отрады в деснице, и венец
освобожденья на челе. И я
вижу тебя, и пленные желанья,
словно змеи в заваленной норе,
наполовину выползли, и тянутся,
дрожащие, голодные, к тебе,
к тебе, к тебе, и необычным пламенем,
пламенем бунта горят их глаза...

«Слушай! Все звезды неба, золотые,
серебряные, все тебе отдам
за горсть любви, за право прикоснуться
к концу твоего скипетра. Отныне
что небеса мне, кто в них для меня
отныне жив, если ты их покинула
ради меня, и сиянье твое
удалилось от них? Ибо разрушены
столпы небес, Божий чертог — руина,
Божий престол разбит, у врат святыни
мусор; а я возрос и возмужал,
красота расцвела, хребет упряма
несокрушимою гордостью, недра
полны рыканий льва — и ты со мною!
Повели — я встряхну кудрями, сброшу,
как солому, расшатанное небо
надо мной; молви слово — погружу
мою жизнь в эту пропасть Аваддона,
и мой взор, что вонзился в глубину
навстречу лику твоему, вовеки
не подыметя к небу. Сжался, сжался,
возьми меня, умчи меня, сестра, —
я в руке твоей, буду я печатью
на твоём сердце, буду я подножьем
твоей стопы; как собака, я лягу

у края ризы твоей, сторожа
миги твоих ресниц и мановенья
мизинца твоего, — или, как лев,
ринусь я на тебя и унесу
в пещеру...»

Голос его зазвучал
словно молитва, сдержанно и мягко:

«...Или создам нную высоту,
с новой лазурью и новым сияньем,
и солнцем будешь ты над мирозданьем
жизни моей; имя твое сплету
с песнью моей души; как раньше Богу,
из молитв буду вить тебе венки,
с ландышей лучших сорву лепестки
и стопам твоим выстелю дорогу.
Орел огня, буду дивным огнем
обвевать тебя; в высь, какой не знали
грезы мои, домчусь, и к солнцам дали
донесу клик о счастье моем...»

Так говорил он, и в его глазах
свет и пламя смешались и боролись;
и поднял он в томлении души
взор от лика в воде к живому лику,
трепеща и пылая — и, взглянув,
окаменел: е е нет над обрывом —
только образ ее, запечатленный,
словно вырезан в черной глубине
и оттуда глядит, и с ним оттуда
глядит звезда зари...

И поднял взоры
вновь на вершину кручи: в высоте
плыла над нею маленькая тучка,

светлая, словно крылатая тучка,
и казалось — прозрачная рука
из-за тучки простерта, указуя,
к Серне Зари. То был ли некий ангел,
или она ?

И взор его повлекся
к дивной звезде рассвета, и в лучах
ее венца душа его повисла,
плененная как сетью. Ведь она,
Серна Зари, чистоокая, грустно-
лучистая, сияла искони
веков, не угасая, не тускнея;
и пред зарей, пред зарею, когда
вставали те, кто на земле непонят,
отщепенцы великие, сироты
мира, — вставали блуждать меж туманов,
прокладывая первые тропы
к горным высям, — она вставала с ними,
одна и непонятна, как они,
встречала их, и был в ее мерцаньи
одни привет, одно благословенье:
Будьте чисты ! — и души их сливала
со всех концов блуждания в единой
мечте Зари...

Великая тоска
его объяла, высшая любовь
сильнее смерти, затопила сердце
морем томлений; и пил он очами
темную синеву, и пил допьяна —
и распрямился юноша, и поднял
руки, и возопил:

— Бог ! Даже пламя,
что бунтует во мне, я отдаю
Тебе и Небу!

Дивное сиянье
было в его глазах, ибо с высот
Серна Зари о клятве ликовала,
предвещая великое; и вера
в некий жребий наполнила его,
и познал он, что Бог к нему воззвал
огнем его души и предназначил
свершить нечто на острове, — но что?

И двинулся вдоль берега вперед,
навстречу уготованного рока,
твердый сердцем. Призыв Огня звучал
в его ушах, и перед ним мерцали
полусветы Зари. И в глубине
девичий образ, и светлая тучка
в вышине тихо поплыли пред ним;
и не дивился юноша пред чудом,
ибо лучшее чудо низошло
в его душу; и шел спокойно, молча,
навстречу Серне Зари.

VII

Долго шел он —
и берег подымался выше, выше
и, наконец, сравнялся с крутизной
по ту сторону вод; и обе кручи
постепенно сходились, омрачая
русло реки, замкнутое меж них, —
словно два великана заманили
реку в свои теснины, замышляя
там удушить во мраке... Но спокойно
юноша восходил, и тучка в небе
и отраженный образ в глубине
плыли пред ним.

И вдруг — остановилась
светлая тучка и застыла в небе
над вершиной утеса. И вгляделся
он издали: черный, громадный клык
возвышался из утренних туманов,
опираясь о плечи берегов;
внизу под ним зиял зловещей глубиью
Аваддон — а с вершины чуть мерцала
словно малая свечка.

И почувал
издали юноша сердцем Огонь
Святыни, и душа затрепетала
в груди. Так вот он, потаенный светоч
Божий, дрожит из пустынных туманов
и мерцает с вершины скал, и мнится
в его мерцаньи намек Искупленья !...
Кто возжег тебя, светоч на утесе,
и кто достоин, чистый, прикоснуться
до тебя ? Или в этом оный подвиг,
предначертанный юноше ?

И радость
могучая, без дна и граней радость
ворвалась в его грудь; благоговя,
расширилась душа и ликовала
в трепете веры. Стопы его легки
и широки шаги; призыв Огня
звучал в его ушах, и в сердце билось
благословенье Зари.

А меж тем
искра росла. Уж вот она, как малый
язык огня, что пляшет в обожаньи
перед зарей, сестрой своей; а вот

уже как прядь от Пламени большого — прядь Ариэля, перед кем стоял он некогда в день обета. И узнал юноша тот Огонь, и встрепенулся орел в гнезде его сердца и бросил радостный клетот в вышину. Забыла душа юноши бездну; миг — и был он на вершине, и ринулся прыжком на священное Пламя, и широким взмахом поднял и взвезл к небесам. Прекрасен он стоял на высоте, в короне юности кудрявой, гордо подняв пышновенчанное чело, и в руке его радостно пылал факел Спасения. Светлая тучка, как херувим-покровитель, витала над его головою — и, ликуя, Серна Зари благословляла свыше силу его.

И мощный клич восторга зрел на его устах — но в этот миг безмолвный зов пронзил его — и в бездне Аваддона, под черной глубиною, выплыл девственный образ. То она, в полноте красоты и вожделений, с блеском иной денницы на челе: прямо в очи она вонзает очи и, как удищем в омуте, ловит взором в безднах души. Тянется молча ему навстречу в высь, и молча в пропасть влечет его к себе. Стройные руки протянуты к нему, словно берут и отдаются; взор — любовь, и смерть, и спор мига и вечности.

И крепко
прижал он факел святыни к груди,
и зажмурил глаза, и крикнул: Небо —
Аввадон — ты... — И ринулся с вершины
в раскрытые объятия на дне
Гибели...

И погасли Божьи свечи
в вышине, посерели степи неба,
обнаженные, грустные, как поле
после жатвы, — и там, у края поля,
словно ненужный, брошен кем-то серп
месяца...

Дрогнула светлая тучка
и растаяла; дрогнула за нею
Серна Зари, и не стала видна.
Ибо в чертоге своем пробудился
Лев золотого утра, и вступил
в царственной мощи на порог великой
тверди; венчаный гривой золотой,
отряхнулся, и брызнуло сиянье
в горные дали.

VIII

А юношу воды
вынесли в край далекий, незнакомый,
в край, чье имя Чужбина.

И скитался
по всем странам, и жил с детьми Изгнанья,
и проходил между ними, подобный
сказке древности дальней и виденью
грядущего; и странно непонятен
был он для них.

И видел небеса,
но ему они чужды; видел землю,
но и она чужда; и научил он
свои глаза глядеть перед собой,
в мировое Ничто.

Так он блуждал
по земле, словно выбитая Богом
из орбиты звезда по беспредельным
пространствам; так блуждал он наг и бос,
глядя перед собой, нищенски бедный —
только с Огнем великим в глубинах
сердца, и с тенью сумерек Зари
в безднах очей. Ибо душу его
трижды расплавил Рок в тройном горниле,
и великое тройственное Пламя
пылало в ней: пламя Бога, и пламя
Диавола, и — жарче тех обоих —
пламя Любви.

И нес он это Пламя
по четырем окраинам земли,
зажигая сердца своим дыханьем
и лампадки затепливая людям
в их потухших глазах.

И проходил он
среди братьев своих, детей Изгнанья,
и видел униженья, видел муку
их, и болел их болью, и рыдал
их воплями. И были в этих воплях
слышны клики небес и ревы ада,
Божья ревность и буря гнева Божья,
стоны души, погибающей в муках
невоплощенной любви, — и вселенский
горестный вздох, что разбился над миром

некогда в ночь Разгрома. Но, бывало,
в скорби молчал он — и молчанье было
воплем его; и не было на свете
скорби, равной его безмолвной скорби,
ни боли, как его немая боль.

И выдержать не мог его прямого
взора никто. Иные подымали,
избегая очей его, глаза
к небу, иные к земле опускали; —
он безмолвно следил за ними взглядом,
пока пройдут, и жалостью великой
жалел о них.

Встречал он и людей
гнева и ненависти: люди гнева
содрогались пред ним и отступали
торопливо, и хмурили чело,
и надвигали брови над глазами,
и клали руку на сердце, и будто
нечто пытались утаить от взора
Загадочного. Тщетно: видел он
недра их сердца, и входил в их душу,
как в осажденный город сквозь пролом
стены...

А если встречал на дороге
беззаботно-уверенное сердце, —
пронзал его глазами, и вливал
смертный недуг, и с той поры не ведал
беззаботный спокойствия и тихих
снов по ночам.

И много было тех,
что под его проклятьем и его
благословеньем безмолвно склоняли

голову, и от уст его просили
поучений, укоров и молитв,
и от очей жаждали милосердья
и надежды. В душе его шумело
море жалости ; утренней росой
струилися на скорбные сердца
слова его утехи, и во взоре
сияла милосердая Заря.

Ибо и мощь и блеск яркого Солнца
нес он в своей душе, и мрак и тайну
Ночи; но жаждой глаз его была
только Заря, мерцание рассвета —
его стихия, предутренний сумрак —
песнь его жизни...

* *
*

А когда сжималось
его сердце, и дико налетали,
как волны моря, великие сны
и непреложные муки, — далеко
за-город уходил он на заре
и стоял, опершись, под одиноким
деревцом у дремотного потока,
смотря подолгу на Серну Зари
и на отблеск ее в глубокой влаге;
и закрывал глаза, и, глядя в бездны
своей души, долго, долго стоял,
с целым миром безмолвствуя в великой
скорби своей — в своей великой скорби
Одинокого.

Ангел молодой,
светлокрылый, с печальными глазами,
что обитал в лучах Серны Зари,

наклонял над землей тогда в молчаньи
чашу Безмолвной Скорби — и катились,
капля за каплей, сокрытые слезы
среди безмолвия зари...

1905

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	Э. З.
О Х. Н. Бяликe	М. Горький
Стихи	Перевел:
3 В поле	Вл. Жаботинский
5 Привет вам	Л. Яффе
6 У порога (отрывок)	Вл. Жаботинский
7 Как сухая трава	Вл. Жаботинский
9 Ваше сердце	Вл. Жаботинский
10 Если познать ты хочешь	Вл. Жаботинский
13 Одинокaя звезда	Вл. Жаботинский
15 Эти жадные очи	Вл. Жаботинский
16 На страже утра	Вл. Жаботинский
17 Сиротливая песня	Вл. Жаботинский
19 Весна	Вл. Жаботинский
20 Уронил я слезу	Вл. Жаботинский
21 Последний	Вл. Жаботинский
22 Пред закатом	Вл. Жаботинский
23 О резне	Валерий Брюсов
24 Глагол	Вл. Жаботинский
26 Мотылек	Вл. Жаботинский
28 Где ты?	Валерий Брюсов
36 Встань, сестра моя, невеста	Вл. Жаботинский
38 Если ангел спросит...	Вл. Жаботинский
29 Из зимних песен (I—V)	Вл. Жаботинский
40 Эга искра моя	Вл. Жаботинский

41	Приюти меня под крылышком	Вл. Жаботинский
42	Истинно, и это — кара Божья	Вячеслав Иванов
44	Взвойте вы к змеям	Вл. Жаботинский
46	Я знал, в глухую ночь...	Федор Сологуб
47	Из народных песен (I-II)	Вл. Жаботинский
51	Вечер	Вл. Жаботинский
52	Быстро кончен их траур	Вл. Жаботинский
53	И будет, когда продлятся дни	Вл. Жаботинский
56	Перед книжным шкафом	О. Румер
59	Бежать? О, нет!	Вл. Жаботинский
60	Так будет — найдете вы...	Федор Сологуб
62	Ветка склонилась	Ю. Балтрушайтис
63	Да будет удел ваш безмолвный	Вячеслав Иванов
66	Младенчество	Вячеслав Иванов

Поэмы

71	Подвижник	Вл. Жаботинский
76	Зори	Вл. Жаботинский
83	Мертвецы пустыни	Вл. Жаботинский
90	Сказание о погроме	Вл. Жаботинский
99	Заводь	Вячеслав Иванов
107	Свиток о Пламени	Вл. Жаботинский

Трудно говорить о большом поэте, почти невозможно передать с достаточной ясностью все то, что вызывают в душе твоей его стихи, — вихрь чувств, разбуженный ими, почти всегда неуловим для слова.

Для меня Бялик — великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он — точно Исаия, пророк наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов.

Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю ее, мне кажется, что народ Израиля еще не имел, — или по крайней мере на протяжении девятнадцатого века, — не создавал поэта такой мощности и красоты.

Сквозь вихрь гнева, скорби и тоски пробивается ярким лучом любовь поэта к жизни, к земле и его крепкая вера в духовные силы еврейства.

Мы — соперники Рока,
Род последний для рабства и первый
для радостной воли!

Эта вера Бялика не вызывает сомнения у меня — народ Израиля — крепкий духом народ, — вот он дал миру еще одного поэта...

М. Горький